

Чингиз
Айтматов

Белое
облако
Чингис-хана



Annotation

"Повесть к роману". Этнический, философский смысл легенды тесно переплетается с современной линией повести, с трагической судьбой Абуталипа Куттыбаева, одного из героев романа "И дольше века длится день" ("Буранный полустанок"). Этот текст не мог быть включен в роман при его первом издании в пору идеологического диктата (1980 г.).

- [Чингиз Айтматов](#)
 - [ПОВЕСТЬ К РОМАНУ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Чингиз Айтматов
Белое облако Чингисхана

ПОВЕСТЬ К РОМАНУ

Читателю предлагается повесть к роману. Что это — новый жанр? Разумеется, жанра такого не бывает. Но если допустить, что в жизни всякое случается, то имеется в виду повесть к роману «И дольше века длится день», опубликованному в «Новом мире» девять лет тому назад. Не стану рассказывать, почему этого текста не было в первоначальном варианте в пору идеологического диктата, когда всевидящие цензоры и разного рода «мнения сверху» решали участь произведения в административном порядке. Нередко приходилось ради прохождения книги «в целом» соглашаться на наименьшее из зол, чтобы, образно говоря, не перегрузить корабль, идущий к читательским берегам в жестокий шторм. Далеко не всегда удавалось «допеть недопетую песню». Но вот такая возможность представилась. И я предлагаю журналу эту часть моего старого «нового» романа. Должен сказать, что в повести использовано одно из устных преданий кочевья о Чингисхане, миф, мало соотносимый с исторической действительностью, но много говорящий о народной памяти...

Чингиз АЙТМАТОВ

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад...

Пробиваясь сквозь белую летучую мглу, беспрестанно вздымаемую ветрами с холодных сарозекских равнин, машинистам проходящих поездов в те метельные февральские ночи стоило немало усилий разглядеть среди снежных заносов в степи полустанок Боранлы-Буранный. Объятые клубящимися вихрями, ночные поезда приходили и уходили во мгле, как в беспокойном, тревожном сновидении...

В такие ночи, казалось, мир зарождался заново из первозданного хаоса — сокрытые стужей собственного дыхания, сарозекские степи походили на дымный океан, возникающий в кромешном борении тьмы и света...

И в том великом пустынном пространстве каждую ночь, не угасая до утра, светилось одно окошко на полустанке, точно там, за этим окном, горько маялась некая душа, точно там кто-то тяжело болел, не находя себе места, или страдал от жестокой бессонницы. То было окошко пристанционного барака, в котором жила семья Абуталипа Куттыбаева. Это они, его жена и дети, ждали его каждый день, не гася света на ночь, и среди ночи Зарипа несколько раз подрезала нагоравший фитиль в лампе. И всякий раз при заново разгоравшемся огне она невольно останавливала взгляд на спящих детях — двое черноголовых мальчишек спали, как пара щенят. И ее знобило под натальной рубашкой от холода, и, сомкнув руки на груди, сжимаясь в комок, страшилась она, глядя на них, боялась, что снится сыночкам отец и что они бегут во сне к отцу изо всех сил раскинув руки, плача и смеясь, бегут наперегонки, но так и не добегают... И наяву они ждали отца с любым проходящим поездом, который, пусть на полминуты, притормаживал на их разъезде. Только остановится поезд, скрипя тормозами, а мальчишки уже тянут шеи у окна, готовые броситься навстречу. Но отец не объявлялся, дни шли, и никаких вестей о нем не поступало, точно остался он под внезапно рухнувшим обвалом в горах, и никто не знал, где и когда с ним это случилось.

И еще одно окно, но зарешеченное черным кованым железом, в другом конце земли, в полуподвале алма-атинского следственного изолятора, тоже не гасло в те ночи до утра. Вот уже целый месяц изводился Абуталип Куттыбаев от слепящей с потолка круглыми сутками многосильной электрической лампы. То было его проклятием. Он не знал, куда деваться, как защититься от сверлящего, режущего, как нож, электрического света свои изболевшиеся глаза, свою горемычную голову, чтобы хотя бы на секунду забыться, перестать думать, почему он здесь и что от него хотят. Как только он отворачивался ночью к стене, закрыв голову рубахой, немедленно в камеру врвался надзиратель, наблюдавший в глазок, сбрасывал его с нар, пинал ногами: «Не отворачивайся к стене, сволочь! Не закрывай голову, гад! Власовец!». И сколько он ни кричал, что он не власовец, никакого до этого дела им не было.

И снова лежал он, обратившись лицом к беспощадному электрическому свету, зажмурившись, прикрывая изболевшиеся воспаленные глаза, и мучительно жаждал очутиться во тьме, в

беспросветной черноте, пусть в могиле, где глаза и мозг могли бы прекратить свое существование, и уж тогда никакой надзиратель и никакой следователь не властны были бы пытаться его невыносимой мукой — светом, лишением сна, избиениями.

Надзиратели менялись по сменам, но все, как один, были непреклонны — никто из них не помилосердствовал, никто не позволил себе не заметить, как отвернулся узник к стене, напротив, они только и ждали того, и каждый наносил удары с яростью и бранью. Хотя и понимал Абуталип Куттыбаев назначение и обязанности тюремного надзирателя, тем не менее в отчаянии спрашивал себя порой: «Отчего же они такие? Ведь с виду люди. Как можно носить в себе столько злобы? Ведь никому из них я не сделал никакого зла. Они не знали меня, я не знал их, но избивают, издеваются, словно из кровной мести. Почему? Откуда берутся такие люди? Как они становятся такими? За что они меня истязают? Как выдержать, как не свихнуться, как не расшибить себе голову о стену?! Потому что другого выхода нет».

Однажды он-таки не выдержал. Будто полыхнула в нем белая молния. Сам не понял, как схватился с надзирателем, пинавшим его. И они покатались по полу в яростной драке. «Я бы тебя на фронте давно пристрелил, как бешеную собаку!» — хрипел Абуталип, раздирая с треском ворот гимнастерки надзирателя, стискивая его горло цепенеющими пальцами. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не подоспели из коридора еще двое стражей.

Пришел в себя Абуталип лишь на следующий день. Первое, что он увидел сквозь муть и боль, — ту же негаснущую лампу на потолке. Потом хлопотавшего над ним фельдшера.

— Лежи, теперь ты уже не отправишься на тот свет, — негромко сказал ему фельдшер, прикладывая примочки к пораненному лбу. — И не будь больше последним дураком. Тебя и сейчас могли бы прикончить за нападение на охрану, прибили бы, как собаку, и никакого за тебя ответа. Благодарю Тансыкбаева — ему нужен не твой труп, а ты сам, живьем. Понял?

Абуталип тупо молчал. Ему было все равно, что с ним случится, как обернется его судьба. Способность души к страданию вернулась не сразу.

В те дни у него случались моменты затмения разума — утрата реальности, полувья становились спасительной защитой. В такие мгновения Абуталип желал не прятаться, не избегать направленного света, а наоборот — он стремился навстречу тому неумолимому мучительному излучению, которое сводило его с ума, и ему казалось, что он витает в воздухе, приближаясь к источнику боли и раздражения, преодолевая себя, чтобы одолеть силу непрерывно ослепляющего света, чтобы раствориться и исчезнуть в небытии.

Но и тогда в истерзанном сознании сохранялась связующая нить с тем, что осталось в былом, то была гнетущая, неотступная тоска, неотступный страх за семью, за детей.

Страдая невыносимо за них оставшихся в сарозеках, пытался Абуталип вершить суд над собой, разобраться в своей вине, пытался ответить себе — за что действительно следовало бы его наказать. И не находил ответа. Разве что за плен, за то, что оказался в немецком плену, как и тысячи других обреченных окруженцев. Но сколько можно за это карать? Война далеко позади. Давно все оплачено сполна — и кровью, и лагерями, уже не за горами время расхотиться по могилам всем тем, кто был на войне, а обладающий безграничной властью все мстит, все не унимается. А иначе как понять происходящее? Не находя ответа, лелеял Абуталип мечту, что со дня на день станет ясно, что с ним произошло досадное недоразумение, и тогда, он, Абуталип Куттыбаев, будет готов забыть все обиды — пусть только побыстрее освободят и отправят побыстрее домой, и помчится он, нет, полетит, как на крыльях, туда, к детям, к семье, в сарозеки, на разезд Боранлы-Буранный, где его ждут не дождутся детишки Эрмек и Даул, жена Зарина, что в той снежной степи сберегает детишек, как птица под крылом, у колотящегося сердца, и слезами, нескончаемыми мольбами пытается пронять, убедить, смягчить судьбу, вымолить милосердие, чтобы мужу вышло спасение...

Чтобы не заорать навзрыд с горя, чтобы не впасть в безумие, начинал Абуталип грезить, ища в том обманчивое успокоение — зримо представлял себе как он, оправданный за отсутствием вины, явится вдруг домой. Представлял себе, как соскочит с подножки попутного товарняка, на котором доберется домой, и как побежит к дому, а они — жена и дети — навстречу... Но проходили минуты иллюзий и, как с похмелья, возвращался он в реальность, впадал в

уныние, и думалось ему подчас, что в «Сарозекской казни», в той легенде, которую он записал, страдания казнимых матери и отца, их прощание с младенцем — нечто вечное, касающееся теперь и его. Он тоже казним разлукой... А ведь только смерть имеет право разлучать родителей с детьми, и больше ничто и никто...

Тихо плакал Абуталип в такие горестные минуты, стыдясь себя, не зная, как унять слезы, увлажнявшие, точно накрапывающий дождь камни, его крепкие скулы. Ведь даже на войне он так не страдал, тогда он, бедовая голова, был сам по себе, а теперь он убеждался, что в, казалось бы, обыденнейшем явлении — в детях — заключен величайший смысл жизни, и в каждом конкретном случае, у каждого человека — свое счастье, счастье, что они есть, и трагедия, если остаться без них... Теперь он убеждался и в том, сколь много значила сама жизнь пред ее утратой, когда в последний час, в озарении последнего, жуткого света перед неизбежным уходом во тьму, настанет подведение итогов. И главный итог жизни — дети. Возможно, потому так и устроено в природе — жизнь родителей расходуется на то, чтобы вырастить свое продолжение. И отнять родителя от детей — значит лишить его возможности исполнить родовое предназначение, значит обречь его жизнь на пустой исход. И трудно было в такие минуты прозрения не впадать в отчаяние; растрогавшись, почти воочию представив себе сцену свидания, Абуталип осознавал несбыточность надежды и становился жертвой безысходности. С каждым днем тоска все глубже завладевала его душой, сгибая и ослабляя волю. Отчаяние накапливалось в нем, как мокрый снег на крутом склоне горы, где вот-вот последует внезапный обвал...

Это-то и надо было следователю МГБ Тансыкбаеву, этого-то он и добивался методично и целеустремленно, раскручивая сатанински задуманное им, с одобрения вышестоящего начальства, дело бывшего военнопленного Абуталипа Куттыбаева о связях его с англо-югославскими спецслужбами и проведении им подрывной идеологической работы среди местного населения в отдаленных районах Казахстана. Такова была общая формулировка. Еще предстояла работа следствия по уточнению и квалификации некоторых деталей, еще предстояло полное признание Абуталипом Куттыбаевым состава преступления, но главное содержалось уже в

самой формулировке обвинения чрезвычайной политической актуальности, свидетельствующего об исключительной бдительности и служебном рвении Тансыкбаева. И если для Тансыкбаева это дело было большой удачей в жизни, то для Абуталипа Куттыбаева то был капкан, круг обреченности, ибо при такой устрашающей формулировке исход мог быть только один — полное признание инкриминируемых ему преступлений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакого иного исхода быть не могло. То был случай абсолютно предрешенный, само обвинение уже служило безусловным доказательством преступления.

И поэтому о конечном успехе своего предприятия Тансыкбаев мог не беспокоиться. Той зимой настал наконец звездный час его карьеры. Из-за незначительного служебного упущения он на несколько лет задержался в звании майора. Но теперь открывалась новая перспектива. Совсем не так часто удавалось добыть в глубинке нечто подобное делу Абуталипа Куттыбаева. Вот уж повезло так повезло.

Да, можно сказать, что в те февральские дни 1953 года история благоволила к Тансыкбаеву; казалось, история страны только для того и существовала, чтобы с готовностью служить его интересам. Не столько осознанно, сколько интуитивно, он ощущал эту добрую услугу истории, все усиливавшей первостепенную значимость его службы, а тем самым все более возвышавшей и его самого в его собственных глазах, и потому испытывал возбуждение и подъем духа. Глядя в зеркало, он удивлялся подчас — давно так молодо не сияли его немигающие соколиные глаза. И он расправлял плечи, удовлетворенно напевал под нос на чистейшем русском языке: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Жена, разделявшая его ожидания, тоже была в хорошем настроении и приговаривала при случае: «Ничего, скоро и мы получим свое». И сын, старшеклассник, комсомольский активист, и тот, хотя, бывало, проявлял непослушание, когда касалось заветного, проникновенно спрашивал: «Папа, скоро с подполковником поздравлять?» На то были свои конкретные причины, пусть не касавшиеся Таксыкбаева впрямую и однако же...

Дело в том, что сравнительно недавно, около полугода тому назад, в Алма-Ате состоялся закрытый процесс: военный трибунал судил группу казахских буржуазных националистов. Эти враги

трудового народа искоренялись беспощадно и навсегда. Двое получили высшую меру наказания — расстрел — за свои написанные на казахском языке научные труды, в которых идеализировалось проклятое патриархально-феодалное прошлое в ущерб новой действительности, двое научных сотрудников Института языка и литературы Академии наук — по двадцать пять лет каторги... Остальные — по десять... Но главное заключалось не в этом, а в том, что в связи с процессом из центра последовали крупные государственные поощрения спецсотрудникам, принимавшим непосредственное участие в изобличении и беспощадном искоренении буржуазных националистов. Правда, госпоощрения тоже носили закрытый характер, но это нисколько не умаляло их весомости. Досрочное присуждение очередных званий, награждение орденами и медалями, крупные денежные вознаграждения за образцовое выполнение заданий, благодарности в приказах и прочие знаки внимания очень даже украшали жизнь. И вселение особо отличившихся в новые квартиры было очень кстати. От всего этого нога крепла, голос мужал, каблук стучал уверенней.

Тансыкбаев не входил в ту группу повышенных в званиях и награжденных, но в торжествах коллег принимал активное участие. Почти каждый вечер они с женой Айкумис отправлялись в очередной «обмыв» новых званий, орденов, новоселий. Целая череда праздничных застолий началась еще в канун Нового года, и они были прекрасны, незабываемы. Слегка продрогшие после холодных, плохо освещенных алма-атинских улиц, гости с порога окунались в радушие и тепло ожидавших в новых квартирах хозяев. И столько неподдельного сияния, оживления и гордости изливали встречавшие на пороге лица, глаза! Поистине, то были праздники избранных, заново познающих вкус счастья. В ту пору, когда еще не забылись недавние нищета и голод военных лет, на окраинах государства особенно восторженно, до головокружения от удовольствия, воспринимался новый, рафинированный комфорт. Здесь, в провинции, только входили в моду дорогие марочные коньяки, хрустальные люстры и хрустальная посуда. С потолков нисходило граненое сияние трофейных люстр, на столах, покрытых белоснежными скатертями, мерцали трофейные немецкие сервизы, и все это захватывало, предрасполагало к благоговейному настроению, точно в этом

заклучался высший смысл бытия, точно ничего иного достойного внимания в мире не могло и быть.

Уже в прихожей витали запахи кухни, где готовилось, помимо прочего, неременное коронное блюдо — нежная, молодая конина, дедовская пища, унаследованная от кочевой жизни, причудливо источавшая и в новых стенах давнишние степные ароматы. И все собравшиеся чинно рассаживались, предвкушая общую трапезу. Но смысл застолья заключался не только и не столько в еде, ибо, насытившись, человек начинает внутренне страдать от обилия кушаний перед ним, сколько в застольных высказываниях — в поздравлениях и благопожеланиях. В этом ритуале таилось нечто нескончаемо сладостное, и это сладостное самочувствие вмещало в себя и поглощало все, что таилось в душе. Даже зависть на время становилась как бы не завистью, а любезностью, ревность — содружеством, а лицемерие ненадолго оборачивалось искренностью. И каждый из присутствующих, преображаясь удивительным образом в похвальную сторону, высказывался как можно умнее, а главное — красноречивей, невольно вступая в негласное состязание с другими. О, это было по-своему захватывающее действо! Какие великолепные тосты взмывали, подобно птицам с ярким оперением, под потолки с трофейными люстрами, какие речи изливались, как писанные, заражая присутствующих все более высоким пафосом.

Особенно взволновал Тансыкбаева и его жену тост одного новоиспеченного казахского подполковника, когда тот, торжественно встав из-за стола, заговорил так проникновенно и важно, как если бы он был артистом драматического театра, исполнявшим роль короля, восходящего на трон.

— Асыл достар!^[1] — начал подполковник, многозначительно оглядывая сидящих томным, величавым взглядом, как бы подчеркивая тем самым необходимость полного, совершенно серьезного внимания. — Вы сами понимаете, сегодня душа моя полна — море счастья. Понимаете. И я хочу сказать слово. Это мой час, и я хочу сказать. Понимаете. Я всегда был безбожником. Я вырос в комсомоле. Я твердый большевик. Понимаете. И очень горжусь этим. Бог для меня пустое место. То, что бога нет, всем известно, каждому советскому школьнику. Но я хочу сказать совсем о другом, понимаете, о том, что есть на свете бог! Минуточку, постойте, не улыбайтесь,

дорогие мои. Ишь вы! Думаете, поймали меня на слове. Нет, нисколько! Понимаете. Я не имею в виду бога, выдуманного угнетателями трудовых масс до революции. Наш бог — это держатель власти, волей которого, как пишут в газетах, вершится эпоха на планете и мы идем от победы к победе, к мировому торжеству коммунизма; это наш гениальный вождь, держащий повод эпохи в руке, как, понимаете, держит вожак каравана повод головного верблюда, это наш Иосиф Виссарионович! И мы следуем за ним, он ведет караван, и мы за ним — одной тропой. И никто, думающий иначе, чем мы, или имеющий в мыслях не наши идеи, не уйдет от карающего чекистского меча, завещанного нам железным Дзержинским. Понимаете. Врагам мы объявили борьбу до конца. Их род, их семьи и всякие сочувствующие элементы уничтожаются во имя пролетарского дела, понимаете, как листья по осени сжигаются огнем в одной куче. Потому что идеология может быть только одна, понимаете, и никакая другая. Вот мы с вами очищаем землю от идеологических противников — буржуазных националистов, понимаете, и прочих, и где бы ни затаился враг, кем бы он ни прикидывался, нет ему никакой пощады. Везде и всюду разоблачать классового врага, выявлять вражескую агентуру, понимаете, как учит нас товарищ Сталин, бить врага, укреплять дух народных масс — вот наш девиз. Сегодня, когда меня отличили, когда зачитан приказ о досрочном присвоении звания, я клянусь и впредь неуклонно следовать сталинской линии, понимаете, искать врага, находить и обнажать его преступные замыслы, за которые он понесет неотвратимое, суровое наказание. Понимаете ли, главных националистов мы обезвредили, но притаились в институтах и редакциях сочувствующие. Но и они никуда от нас не уйдут, и не будет никакой им пощады. Как-то на допросе мне один националист, понимаете, говорит, все равно, говорит, ваша история зайдет в тупик, и вы будете прокляты, как дьяволы. Понимаете?!

— Такого надо было на месте пристрелить! — не удержался Тансыкбаев и даже привстал сердито.

— Верно, майор, я бы так и поступил, — поддержал его подполковник, — но он еще нужен был для следствия, и я ему сказал, понимаете, я ему сказал: пока мы зайдем в тупик, тебя, сволочь, давно уже не будет на свете! Собака лает, а сталинский караван идет...

Все разом захохотали, зааплодировали, одобряя достойную отповедь тому ничтожному националисту, все разом встали с вытянутыми наготове бокалами в руках. «За Сталина», — выдохнули все разом, и все выпили, демонстрируя друг другу опустевшие бокалы, как бы подтверждая тем самым истинность сказанных слов и свою верность им.

Затем было сказано еще многое в продолжение этой мысли. И слова эти, самовоспроизводясь и умножаясь, долго еще кружились над головами собравшихся, накапливая в себе скрытый гнев и ярость, как рой распаленных диких ос, все более озлобляющихся оттого, что они ядоносны и их много.

В душе же Тансыкбаева вскипала своя крутая волна, будоражила в нем свои мысли, укрепляя его решимость, и не потому, что подобные высказывания были внове для него, вовсе нет, напротив, вся его жизнь и жизнь всех его многочисленных сослуживцев так же, как и всего обозримого общественного окружения, протекала изо дня в день именно в этой атмосфере непрерывного подстегивания, неукротимой борьбы, названной классовой и потому во всем абсолютно оправдываемой. Но была тут одна негласная проблема. Для постоянного накала борьбы нужны были все новые и новые объекты, новые направления разоблачений; поскольку многое в этом смысле было уже отработано, едва ли не исчерпано до дна, вплоть до депортации целых народов в погибельные ссылки в Сибирь и Среднюю Азию, то стало все труднее собирать «поголовный» урожай с полей, прибегая на старый лад к обвинениям в наиболее ходовом на национальных окраинах варианте — в буржуазно-феодальном национализме. Наученные горьким опытом, когда по малейшему доносу в идеологической сомнительности того или иного лица незамедлительно следовала расправа с ним и близкими ему, люди уже не допускали роковых ошибок, не говорили и не писали ничего такого, что можно было бы истолковать как проявление национализма. Напротив, многие стали чересчур осторожны и осмотрительны, настолько, что громогласно отрицали любые национальные ценности, вплоть до отказа от родного языка. Попробуй схвати такого, если на каждом шагу он заявляет, что говорит и думает непременно на языке Ленина...

И именно в этот оскудевший событиями период, трудный для наращивания борьбы по выявлению новых скрытых врагов, майору Тансыкбаеву, пусть и случайно, но все же повезло. Донос на Абуталипа Куттыбаева с разезда Боранлы-Буранный попал ему в руки как довольно второстепенный по значимости материал, скорее для ознакомления, нежели для серьезного расследования. Однако Тансыкбаев не упустил своего. Чутье не подвело его. Тансыкбаев не поленился, съездил на место разобраться и теперь все больше убеждался, что это скромное, на первый взгляд, дело при соответствующей обработке может обрести достаточную весомость. И, стало быть, если все образуется как надо, то поощрения свыше наверняка не обойдут и его. Разве не свидетель он подобного торжества в данный момент за данным столом, разве не знает он, как устраиваются подобные вещи? Разве худо ему среди этих хорошо знакомых людей, верой и правдой преданных Богу-Власти и поэтому блаженствующих сегодня с хрусталем на столе и на потолке? Но путь к Богу-Власти только один — через черное, неустанное служение ему в выявлении и разоблачении замаскировавшихся врагов.

А среди врагов следует особенно бдительно следить за теми, кто побывал в плену. Они преступники уже потому, что не пустили себе пулю в лоб, ибо обязаны были не сдаваться, а умереть и этим доказать свою абсолютную преданность Богу-Власти, который требовал неукоснительного — умереть, но не сдаваться в плен. А кто сдался, тот — преступник. И неизбежная кара за это должна служить предупреждением всем, на все времена — на все поколения. Такова установка самого Вождя — Бога-Власти. Куттыбаев же, взятый им на расследование, как раз из числа бывших военнопленных, причем, что чрезвычайно важно, в его деле есть очень нужная зацепка, очень актуальная деталь, — если удастся выбить у Куттыбаева признание на этот счет, пусть даже небольшой факт, то и это может пригодиться в большом деле, как гвоздок на своем месте, — послужить для разоблачения изначально предательских замыслов ревизионистской клики Тито — Ранковича, претендующей на особый путь развития Югославии без одобрения Сталина. Ишь, чего захотели! Давно ли кончилась война, а они уже отделяться решили. Не выйдет! Сталин развеет в прах эту идею и пустит ее по ветру. И совсем нелишне будет при этом доказать в очередной раз, пусть на малом факте, что

предательские ревизионистские идеи зарождались в Югославии уже давно, еще в годы войны среди партизанских командиров, и что происходило это под прямым влиянием английских спецслужб. А в записках Абуталипа Куттыбаева есть воспоминания, как югославские партизаны встречались с англичанами, стало быть, есть все основания заставить его сказать то, что требуется сейчас. А раз так, необходимо добиться этого во что бы то ни стало. Расшибиться в лепешку, но заставить этого сарозекского писаку выложить все, что надо. Ведь в политике пригодно все, что летит в подветренную сторону. Каждая мелочь может пригодиться, может послужить камнем, брошенным во врага, чтобы добить его в идейной схватке. Отсюда возникает задача добыть тот камень, даже камушек, и, пусть символически, но как бы самолично, от сердца, вложить его, тот лишний камушек, в руку самого Бога-Власти, чтобы, если не сам Он, то поручил бы, кому следует, пнуть тем камнем в прихвостней, как пишут в газетах, ненавистного ревизиониста Тито и его приспешника Ранковича. А не пригодится, скажут мелковат, все равно усердие зачтется... Глядишь, все, кто сидят сейчас за столом, окажутся и у него, будут сидеть вот так в его доме по отменному случаю. Ведь смысл жизни — в счастье, а успех — начало счастья.

Об этом думалось в тот званый вечер кречетопазому Тансыкбаеву, и, сидя за столом и вроде бы по ходу разговоров перебрасываясь репликами с другими, он, как пловец в бурном потоке реки, плыл в тот час в нарастающей стремнине своих страстей и вожделений. И лишь жена его Айкумис, хорошо знавшая мужа, заметила, что с ним что-то происходит, что он готовится к чему-то, как ярый зверь, вышедший ночью на охоту и уже учуявший добычу. Она видела это по его глазам, немигающий, соколиный взор которых временами то леденел, то покрывался дымкой взволнованности. И поэтому она шепнула ему: «Отсюда уйдем вместе со всеми и только домой». Тансыкбаев нехотя кивнул в ответ. Не стал при людях возражать, хотя стоило бы. В его голове вызревал новый, более широкий план действий. Ведь вместе с Куттыбаевым в югославских партизанах побывало много других пленных, сегодня отсиживающихся по углам, — стало быть, они тоже могут что-то знать, что-то вспомнить, не так трудно заставить Куттыбаева назвать наиболее активных из них. Необходимо поднять материалы, завтра же

надо сделать соответствующий запрос. Или же самому как можно скорее побывать в центре. И разобраться, раскопать и заставить Куттыбаева подтвердить нужное. А затем, на основе его показаний, предъявить обвинения бывшим военнопленным, воевавшим в Югославии, привлечь этих лиц заново к ответственности за недоносительство, за сокрытие при прохождении комиссии по депортации в Советский Союз предательских замыслов югославских ревизионистов. И людей такого сорта может обнаружиться не одна сотня и не одна тысяча, которых следовало бы — и надо подать эту идею, скорей всего в форме секретной записки — пропустить через мельницу допросов, чтобы затем загнать эту публику в лагеря и на том положить конец...

При этой мысли, осенившей его за столом, уставленным всяческой снедью и коньячными рюмками, Тансыкбаев почувствовал подъем настроения, захотелось еще выпить, захотелось еще закусить, петь, тормошить соседей и смеяться от удовольствия и предощущения какого-то нового поворота в жизни. Он окинул сидящих благодарным взором таинственно засиявших глаз, ведь все присутствующие были свои, родные люди, одним миром мазанные и оттого столь приятные в ту минуту, и они не подозревали, эти родные люди, что присутствуют при моменте, когда у него рождаются великие идеи. Все это вызвало горячий прилив крови к голове и радостные, учащенные удары ликующего, звенящего сердца.

Возникший замысел заключал в себе вполне реальную перспективу повышения по службе. Получалось разумно и логично: чем больше вытравишь притаившихся врагов, тем больше выиграешь и сам. Такая перспектива окрыляла душу. И он подумал не без гордости: «Вот так устраивают умные люди свои дела! И я не остановлюсь на полпути, чего бы это ни стоило!» И захотелось немедленно действовать — тотчас вызвать машину из гаража и помчаться туда, в полуподвал с зарешеченными окнами, называемый следственным изолятором, где сидел Абуталип Куттыбаев, и сразу приняться за дело — допрашивать, не теряя времени, прямо там, в камере, да так допрашивать, чтобы душа у того от страха в кишках замирала. И никаких двусмысленностей насчет исхода дела; признает Куттыбаев вину, подтвердит англо-югославские задания, назовет всех, кто вместе с ним был в партизанах, — получит 58 статью с пунктом

1-«б» — 25 лет лагерей, а нет — расстрел за измену, за агентурное сотрудничество с иностранными спецслужбами и идеологически подрывную работу среди местного населения. Пусть крепко подумает.

Представляя себе, как все это будет происходить, Тансыкбаев многое предвидел наперед: и то, как сложится разговор на допросе, как будет упираться Куттыбаев и какие меры придется предпринять, чтобы сломить его, но он знал также, что все равно тот никуда не денется, выбора у него нет, если хочет жить. Конечно, будет упорно оправдываться, дескать, ни в чем не виновен, плен искупил с оружием в руках, воюя вместе с югославскими партизанами, был ранен, пролил кровь, по окончании войны прошел депортационную комиссию, после войны честно трудился и т. д. и т. п. Все это пустой разговор. Откуда Куттыбаеву знать, что он нужен не в этом, а совсем в ином качестве. И что в том качестве, в котором он требуется, он послужит началом целой акции по искоренению затаившихся врагов государства. Он нужен как первое звено, за которым потянется вся цепь. Что может быть выше государственных интересов? Иные думают — жизнь людская. Чудаки! Государство — это печь, которая горит только на одних дровах — на людских. А иначе эта печь заглохнет, потухнет. И надобности в ней не будет. Но те же люди не могут существовать без государства. Сами себе устраивают сожжение. А кочегары обязаны подавать дрова. И на том все стоит.

Философствуя обо всем этом, поскольку в партшколе когда-то кое-что слышал о классических учениях, сидя за столом рядом с женой, от которой, казалось бы, трудно укрыть мысли, успевая кивать и поддакивать соседям в общем разговоре, Тансыкбаев восхищался втайне тем, как чудесно устроен человек. Вот, к примеру, он сидит в компании, в званых гостях, делает вид, будто целиком и полностью поглощен значимостью этого момента, а сам думает совершенно о другом. Кто может представить, на что он нацелился, какие вызревают у него планы?! Сознание того, что в нем, мирно сидящем за столом, таится нечто сокрушительное, неотвратимое, зависящее только от его воли, что пока никому не доступны его замыслы, скрытая сила которых, реализуясь, заставит людей ползать на коленях перед ним, а через него — и перед самим Богом-Властью, и что в этой связи он является одной из ступеней среди множества, и все-таки считанных, ступеней к устрашающему пьедесталу Бога-Власти,

вызывало в нем физическое блаженство и нетерпение, как при виде вкусной еды или в исступленном предощущении совокупления. И от каждой следующей рюмки это возбуждение в нем все больше нарастало и завладевало им, растекаясь по телу истомой ускоряющихся кровотоков, и ему стоило немалых усилий сдерживаться, твердя себе, что он начнет осуществлять свой план не далее как завтра, что он все еще успеет.

Перебирая в уме детали предстоящего дела, Тансыкбаев испытывал чувство глубокого удовлетворения основательностью своих намерений, логичностью замысла. И все же было ощущение, что чего-то еще вроде не хватает, требовалось еще что-то додумать, и какие-то улики вроде остались еще не задействованы, не осмыслены в достаточной мере.

К примеру, что-то ведь таилось в записях Куттыбаева о манкурте. Манкурт! Оболваненный манкурт, убивший свою мать! Да, конечно, это старинная легенда, но что-то записывавший легенду Куттыбаев ведь имел в виду?! Не зря, не случайно он так старательно и подробно записал это сказание. Да, манкурт, манкурт... Что же тут сокрыто, если иносказательное, то что именно? И главное, как собирался Куттыбаев использовать историю манкурта в своих подстрекательских целях, в какой форме, каким образом? Очень смутно угадывая в легенде о манкурте нечто идеологически подозрительное, Тансыкбаев, однако, еще не мог это категорически утверждать, не было полной уверенности, чтобы уличить наверняка. Вот если бы назвать эту легенду, как полагается в таких случаях, антинародной и за это привлечь к ответственности, но как? Здесь Тансыкбаеву не хватало компетентности, это он понимал. Надо бы обратиться к какому-нибудь ученому. Ведь вот с разоблачением буржуазных националистов, которое они сегодня обмывали, так все и было — обнаружили группировку, затем одни знатоки-ученые были выпущены на других с обвинениями в национализме, в воспевании прошлого в ущерб сталинской социалистической эпохе, и этого оказалось достаточно, чтобы мельница заработала круглыми сутками. И все-таки что-то да таилось в том, как тщательно Куттыбаев записывал историю манкурта. Требовалось еще раз внимательно вчитаться в каждое слово, и если обнаружится хотя бы малейшая

зацепка, то и запись легенды использовать, приобщить к делу, вменить в вину.

Кроме того, среди бумаг Куттыбаева обнаружен текст еще одной легенды, под названием «Сарозекская казнь», — из времен Чингисхана. Тансыкбаев не сразу обратил внимание на эту стародавнюю историю и только теперь призадумался. Ведь в ней, если поразмыслить, вроде бы можно усмотреть некий политический намек...

* * *

Идя походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские пространства народ-армию, Чингисхан в сарозекских степях учинил казнь — предал повешению воина-сотника и молодую женщину-золотошвейку, вышивальщицу триумфальных шелковых знамен с огнедышащими драконами на полотнищах...

К тому времени большая часть Азии была уже под пятой Чингисхана, поделена на улусы между его сыновьями, внуками и полководцами. Теперь на очереди стояла участь краев за Итилем (Волгой), участь Европы.

В сарозекских степях была уже осень. После дружных дождей пополнились водой пересохшие за лето озера и реки — значит будет чем поить коней в пути. Степная армада поспешала. Переход через сарозекские степи считался наиболее трудной частью похода.

Три армии — три тумена по десять тысяч воинов — двигались впереди, широко развернув фланги. О мощи туменов можно было судить по их поступи — по зависшей на многие версты по горизонту, как дым после степного пожара, пыли из-под копыт. Еще два тумена с запасными табунами, обозами и яловыми стадами на каждодневный убой следовали позади — в этом можно было убедиться, оглянувшись, — там тоже вилась пыль в полнеба. Были еще и другие боевые силы, которые нельзя было увидеть из-за их удаленности от этих мест. К ним надо было скакать несколько дней — то были правые и левые крылья, по три тумена в каждом крыле. Те войска двигались

самостоятельно в сторону Итиля. К началу холодов предполагалась на берегу Итиля встреча в ханской ставке командующих всех одиннадцати туменов с тем, чтобы согласовать дальнейшие действия и двинуться по льду через Итиль в богатые и славные страны, о покорении которых грезил Чингисхан, грезили его полководцы и каждый всадник...

Так двигались войска в походе, не отвлекаясь, не задерживаясь, не теряя времени. И с ними в обозах были женщины, и в этом заключалась беда.

Сам Чингисхан с полутысячью стражников — кезегулов и свитой — жасаулами, сопровождавшими его в пути, находился в середине того движения, как плывущий остров. Но ехал он особняком — впереди них. Не любил Повелитель Четырех Сторон Света многолюдья возле себя, тем более в походе, когда следует больше молчать, смотреть вперед и думать о делах.

Под ним был любимый иноходец Хуба, прошедший у хана под седлом, быть может, полсвета, сбитый и гладкий, как галечный камень, могучий в груди и холке, белогривый и чернохвостый, с ровным, шелковым ходом. Два запасных коня, не менее выносливых и ходких, шли налегке в сияющей отделкой ханской сбруе, ведомые верховыми коноводами. Хан менял коней на ходу, как только лошадь начинала припотевать.

Но самым примечательным было не окружение Чингисхана — бесстрашные кезегулы и жасаулы, жизнь которых принадлежала Чингисхану больше, чем им самим, — на то они и отбирались, как лезвия клинков, один из ста, — и не их отменные верховые кони, редкостные, как самородки золота в природе. Нет, примечательным в том походе было совсем другое. Над головой Чингисхана всю дорогу, заслоняя его от солнца, плыло облако. Куда он — туда и облако. Белая тучка, величиной с большую юрту, следовала за ним, точно живое существо. И никому невдомек было — мало ли тучек в вышине, — что то есть знамение — так являло Небо свое благословение Повелителю миров. Однако сам он, Чингисхан, зная об этом, исподволь наблюдал за тем облаком и все больше убеждался, что это действительно знак воли Неба-Тенгри.

Появление облака было предсказано неким странствующим прорицателем, которому Чингисхан однажды дозволил приблизиться

к себе. Тот чужеземец не пал ниц, не льстил, не пророчествовал в угоду. Он стоял перед грозным ликом степного завоевателя, восседавшего на троне в золотой юрте, с достойно поднятой головой, тощий, оборванный, с диковинно длинными волосами до плеч, точно женщина с распущенными кудрями. Чужеземец был строг взглядом, внушительно бородат, смугл и сух чертами лица.

— Я пришел к тебе, великий хаган, сказать, — передал он через толмача-уйгура, — что волею Верховного Неба будет тебе особый знак с высоты.

Чингисхан на мгновение замер от неожиданности. Пришелец то ли не в своем уме, то ли не понимает, чем это для него может кончиться.

— Какой знак, и откуда тебе это известно? — едва сдерживая раздражение, хмуря лоб, поинтересовался всесильнейший.

— Откуда известно — не подлежит оглашению. А что касается знака, то скажу — над головой твоей будет являться облако и следовать за тобой.

— Облако?! — не скрывая изумления, воскликнул Чингисхан, резко вскидывая брови. И все вокруг невольно напряглись в ожидании взрыва ханского гнева. Губы толмача побелели от страха. Кара могла коснуться и его.

— Да, облако, — ответил прорицатель. — Оно будет перстом Верховного Неба, благословляющего твое высочайшее положение на земле. Но тебе надлежит беречь это облако, ибо, утратив его, ты утратишь свою могучую силу...

В золотой юрте наступила глухая пауза. Всего можно было ожидать от Чингисхана в тот миг, но вдруг ярость его взгляда приугасла, как догорающий в костре огонь. Преодолевая дикий порыв к расправе, он понял, что не следует воспринимать слова бродячего вещуна как вызывающую дерзость и тем более карать его, что тем самым он уронит свою ханскую честь. И Чингисхан сказал, пряча в жидких рыжеватых усах коварную улыбку:

— Допустим, Верховное Небо внушило тебе высказать эти слова. Допустим, я поверил. Но скажи мне, мудрейший чужеземец, как же я буду оберегать вольное облако в небе? Уж не погонщиков ли на крылатых конях послать туда, чтобы они стерегли то облако? Уж не

взнуздать ли им его на всякий случай, как необъезженного коня?! Как мне уберечь небесное облако, гонимое ветром?

— А это уж твоя забота, — коротко ответил пришелец. И опять все замерли, опять воцарилась мертвая тишина, и опять побелели губы толмача, и никто из находившихся в золотой юрте не посмел поднять глаза на несчастного прорицателя, обрекшего себя, то ли по глупости, то ли непонятно зачем, на верную гибель.

— Одарите его, и пусть идет, — глухо проронил Чингисхан, и слова его упали на души, как капли дождя на иссохшую землю.

Странный, нелепый случай этот вскоре забылся. И то правда, каких только чудачков не бывает на свете. Возомнил себя вещуном! Но сказать, что тот чужеземец просто из легкомыслия рисковал головой, было бы несправедливо. Ведь не мог он не понимать, на что идет. Что стоило ханским кезегулам тут же скрутить его и привязать к хвосту дикой лошади — предать за непочтительность и наглость позорной смерти. И однако же что-то сподвигнуло, что-то вдохновило того отчаянного пришельца, не дрогнув, предстать, как перед львом в пустыне, перед самым грозным и беспощадным властелином. Был ли то поступок безумца или это был действительно промысел Неба?

И когда уже все забылось в беге дней проходящих, незадачливый предсказатель вдруг припомнился Чингисхану — ровно через два года.

Целых два года ушло в империи на подготовку к Западному походу. Позднее Чингисхан убедился в том, что на его власть обретающем пути неудержимого расширения пределов империи эти два года были самым деятельным периодом сбора сил и средств к мировому прорыву, к вожделенной цели его, к захвату тех земель и краев, овладев которыми, он мог по праву считать себя Властелином всех Четырех Сторон Света, всех дальних пределов мира, куда только способна была докатиться волна его несокрушимой конницы. К этой параноической идее, к неотвратимой жажде всевладычества и всемогущества сводилась в итоге жесточайшая суть степного властелина, его историческое предназначение. И потому вся жизнь его империи — всех подвластных улусов на огромных азиатских просторах, всего разноплеменного населения, усмирившегося под единой твердой рукой, всех имущих и обездоленных во всех городах и кочевьях и в конечном счете каждого человека, кем бы он ни был и

чем бы он ни занимался, была целиком подчинена этой ненасытной воле, дьявольской страсти — все новых и новых завоеваний, все новых и новых покорений земель и народов. И потому поголовно все были заняты единым служением, все подчинялись единому замыслу — наращивания, накопления, совершенствования военной силы Чингисхана. И все, что можно было добыть из недр и изготовить для вооружения, вся живая, созидательная деятельность обращалась на потребу нашествия, могучего рывка Чингисхана в Европу, к ее сказочно богатейшим городам, где каждого воина ждала обильная добыча, к ее густо-зеленым лесам и лугам с травостоем по брюхо лошади, где кумыс потечет рекой; отрада власти над миром коснется каждого, кто пойдет в поход под изрыгающими пламя драконовыми знаменами Чингисхана, и каждый усладится победой, как женщиной, заключающей в лоне своем высшую сладость. Идти, побеждать и покорять земли повелевал великий хаган, и тому предстояло быть....

Чингисхан был в высшей степени человеком дела, расчетливым и прозорливым. Готовясь к вторжению в Европу, он прикинул, предусмотрел все до мелочей. Через верных лазутчиков и перебежчиков, через купцов и пилигримов, через странствующих дервишей, через деловых китайцев, уйгуров, арабов и персов выведал все, что следовало знать для продвижения огромных воинских масс, — все наиболее удобные пути и переправы. Им были учтены нравы и обычаи, религии и занятия жителей тех мест, куда двигались его войска. Писать он не умел, и все это приходилось держать в уме, соотнося пользу и вред всего, что ждало его в походе. Только так могла быть достигнута слаженность в деле и, самое главное, неукоснительная, железная дисциплина, только так можно было рассчитывать на успех. Чингисхан не допускал никаких послаблений — никто и ничто не должны были быть помехой главной его цели — завоеванию Европы.

Именно тогда, продумывая свою стратегию, Чингисхан пришел к беспрецедентному в веках повелению — запрету деторождения в народе-армии. Дело в том, что жены и малые дети боевых конников обычно следовали за войском в семейных обозах, кочуя с армией с места на место. Традиция эта существовала издавна, диктовалась она жизненной необходимостью, ибо в нескончаемых междоусобицах враги нередко мстили друг другу, истребляя жен и детей, оставшихся

на местах без защиты. Причем беременных женщин убивали в первую очередь, чтобы подсечь корень рода. Но жизнь со временем менялась. Прежде постоянно враждовавшие племена при Чингисхане все больше примирались и объединялись под единым куполом великого государства.

В молодости, когда Чингисхан еще именовался Темучином, он немало повоевал с соседними племенами, и сам лютовал, и настрадался, и любимая жена его Бортэ была похищена при набеге меркитов и побывала в наложницах. Возымев власть, Чингисхан стал пресекать междоусобицы со всей беспощадностью. Распри мешали ему править, подрывали силы государства.

Шли годы, и постепенно надобность в старой форме обозно-семейной жизни отпадала. Но самое главное — семья в обозе становилась бременем для армии, помехой мобильности в военных операциях широкого масштаба, особенно в наступлении и на переправах через водные препятствия. Отсюда и высочайшее указание степного властелина — категорически запретить женщинам, следующим в обозах за войском, рожать детей до победоносного завершения Западного похода. Это повеление сделано им было за полтора года до выступления. Он сказал тогда:

— Покорим западные страны, остановим коней, сойдем со стремян — и пусть тогда обозные женщины рожают, сколько хотят. А до этого мои уши не должны слышать вестей о родах в туменах...

Даже законы естества отвергал Чингисхан ради военных побед, кощунствуя над самой жизнью и над Богом. Он хотел и Бога поставить себе на службу, ибо зачатие есть весть от Бога.

И никто ни в народе, ни в армии не воспротивился и даже не помыслил воспротивиться насилию; к тому времени власть Чингисхана достигла такой невиданной силы и средоточия, что все беспрекословно подчинились неслыханному повелению на запрет деторождения, поскольку послушание неизбежно каралось смертью...

Вот уже семнадцатый день, как Чингисхан, находясь в пути, в походе на Запад, испытывал особое, небывалое состояние духа. Внешне великий хаган держался, как и всегда, как подобало его особе, — строго, отчужденно, подобно соколу в часы покоя. Но в душе он ликовал, пел песни и сочинял стихи:

...Облачной ночью,
Юрту мою прикрытым дымником
Окружив, лежала стража моя
И усыпляла меня в дворцовой юрте моей.
Сегодня в пути хочу сказать благодарность:
Старейшая ночная стража моя
На ханский престол меня возвела!
В снежную бурю и мелкий дождь,
Пронизывающий до дрожи,
В проливной дождь и просто дождь
Вокруг походной юрты моей
Стояла, меня не тревожа,
И сердце мое успокаивала стража моя!
Сегодня в пути хочу сказать благодарность:
Крепкая ночная стража моя — На престол меня возвела!..
Среди врагов, учинивших смуту,
Колчана из березовой коры
Еле слышный шорох услышав,
Без промедления бросалась бороться.
Бдительной ночной страже моей
Сегодня в пути хочу сказать благодарность.
Загривки люто вздыбив при луне,
Верная стая волков
Вожака обступает, выходя на охоту.
Так в набеге на Запад со мной
Неразлучна сивогривая стая моя.
Белые клыки моего трона всюду со мной...
Благодарность пою им в дороге...

Стихи эти, прозвучи они вслух, были бы неуместны в устах Чингисхана — ему ли было заниматься душеизлияниями! Но в пути, находясь с утра и до вечера в седле, он мог позволить себе и такую роскошь.

Главной причиной его душевного торжества было то, что вот уже семнадцатый день, с утра и до вечера, над головой Чингисхана плыло в небе белое облако — куда он, туда и оно. Сбылось-таки вещее

предсказание прорицателя. Кто бы мог подумать! А ведь что стоило умертвить того чудака в тот же час за вызывающую непочтительность и дерзость, недопустимую даже в мыслях. Но странник не был убит. Значит, такова воля судьбы.

В первый же день выхода в поход, когда все тумены, обозы и стада двинулись на Запад, заполнив все пространство, подобно черным рекам в половодье, меняя в полдень на ходу притомившегося коня, Чингисхан случайно глянул ввысь, но не придал никакого значения небольшой белой тучке, медленно плывущей, а возможно, и замершей на месте как раз над его головой, — мало ли тучек слоняется по миру.

Он продолжал путь, сопровождаемый державшимися чуть поодаль кезегулами и жасаулами, занятый своими мыслями, озабоченно обзревая с седла округу, вглядываясь в движение многотысячного войска, послушно и рьяно идущего на покорение мира, настолько послушного его личной воле и настолько рьяного в исполнении его помыслов, как если бы то были не люди, среди которых каждый в душе желал быть таким же властным, как он, а пальцы его собственной руки, перебирающие поводья коня.

Вновь взглянув на небо и обнаружив то же самое облако над собой, Чингисхан опять не подумал ничего особенного. Нет, не подумал он, одержимый идеей мировых завоеваний, почему облако следует поверху в том же направлении, что и всадник внизу. Да и какая связь могла существовать между ними?

И никому из идущих в походе облако не бросилось в глаза, никому не было до него дела, никто и не предполагал, что среди бела дня свершилось чудо. Зачем было шарить взором в необозримой выси, когда требовалось глядеть под ноги. Войско шло себе, тянулось в походе, продвигаясь темной массой по дорогам, низинам и взгорьям, вздымая пыль из-под копыт и колес, оставляя позади пройденные расстояния, быть может, навсегда и необратимо. И все это с готовностью совершалось в угоду ханской мании и воле, и десятки тысяч людей с готовностью шли, гонимые и вдохновляемые им, жаждущим приращения славы, власти, земель.

Так они шли, и уже близился вечер. Предстояло разместиться на ночь там, где застигнет тьма, и с утра снова двинуться в путь.

Для ночлега хана и его свиты обслуживающие их чербии заблаговременно соорудили дворцовые юрты. Они уже виднелись далеко впереди белыми куполами. Ханское знамя — черное полотнище с ярко-красной каймой и огненным, шитым шелком и золотыми нитями драконом, изрыгающим пламя из пасти, — уже развевалось на ветру возле главной дворцовой юрты. Не спуская глаз с дороги, кезегулы — отборные и мрачные силачи — стояли наготове в ожидании повелителя. Здесь предстояла общая вечерняя трапеза, здесь же после еды Чингисхан собирался провести первую встречу с войсковыми нойонами, чтобы обсудить результаты первого дня похода и планы на следующий. Успех начала великого движения настраивал Чингисхана на общительный лад — он не прочь был устроить в тот вечер пир для нойонов, послушать их речи и самому высказать повеления и то, что он соизволит изречь, когда все и каждый станут сгустком внимания, будто сгустившееся цельное молоко, будет сказано для всех Четырех Сторон Света, скоро все Стороны Света будут покорно внимать его слову, для этого он и ведет войска — для утверждения слова своего. А слово — это вечная сила.

Но пиршество Чингисхан затем отменил. Смятение души потребовало полного уединения. И вот почему...

Приближаясь к месту привала, Чингисхан снова обратил внимание на знакомое облако над головой — уже в третий раз. И тут только сердце его екнуло. Пораженный невероятной догадкой, он похолодел, и земля поплыла у него перед глазами — он едва успел схватиться за гриву коня. Такого с ним никогда не случалось, ибо ничто из сущего на темногрудой Земле Этуген, незыблемой основе мира, дарованной Небом для житья и владычества, не могло ошеломить его настолько, чтобы он ахнул от неожиданности; казалось, все было изведано, ничто на свете не могло уже поразить его жестокий ум, восхитить или опечалить его заматеревшую в кровавых делах душу, никогда не случалось, чтобы он, уронив свое ханское достоинство, испуганно вцеплялся в гриву коня, как какая-то баба. Такого не могло и не должно было быть, поскольку давно уже, можно сказать, с ранних лет, с тех пор, как он пристрелил из лука своего единокровного братца отрока Бектера, повздорив с ним из-за выловленной рыбешки, а на самом деле уловив рано проснувшимся волчьим чутьем, что им в одном седле судьбы не усидеть, — с тех пор

убедился он, постигнув устройство жизни самым верным, безошибочным способом — попраиением силой, что нет и не может быть ничего такого, что не покорилось бы силе, что не пало бы на колени, не померкло бы, не сокрушилось бы в прах под напором грубой мощи, будь то камень, огонь, вода, дерево, зверь или птица, не говоря уж о грешном человеке. Когда сила силу ломит, удивительное становится ничтожным, а прекрасное — жалким. Отсюда устоялся вывод: все, что попирается, то ничтожно, а все, что простирается ниц, — заслуживает снисхождения в меру прихоти снисходящего. И на том мир стоит...

Но совсем иное дело, когда речь о Небе, олицетворяющем Вечность и Бесконечность, о которых толкуют подчас гималайские странники, бродячие книжники. Да, лишь Оно, непостижимое Небо, было ему неподвластно, неуловимо и недоступно. Перед Небом-Тенгри он и сам был никем — ни восстать, ни утратить, ни двинуться походом. И оставалось только молиться и поклоняться Небу-Тенгри, ведающему земными судьбами и, как утверждали гималайские книжники, движением миров. А потому, как и всякий смертный, в искренних заверениях и жертвоприношениях умолял он Небо благоволить к нему и покровительствовать ему, помочь твердо владеть людским миром, и, если таких подлунных миров, как утверждают бродячие мудрены, великие множества во Вселенной, то что стоит Небу отдать земной мир ему, Чингисхану, в полное и безраздельное господство, во владение его роду из колена в колено, ибо есть ли на свете более могущественный и достойный среди людей, нежели он; нет такого, кто превосходил бы его в силе, чтобы править всеми Четырьмя Сторонами Света. В тайных помыслах своих он все больше верил, что имеет особое право просить у Верховного Неба того, чего никто не осмеливался просить, — безграничного владычества над народами, — ведь должен кто-то один быть правителем, так пусть будет тот, кто сумеет покорить силой других. В своей безграничной милости Небо не чинило ему помех в его завоеваниях, в приращении господства, и, чем дальше, тем больше укреплялся он в уверенности, что у Неба он на особом счету, что верховные силы Неба, неведомые людям, на его стороне. Все ему сходило с рук, а ведь какие только яростные проклятия не призывались на его голову из уст вопиющих во всех краях, где

прошелся он огнем и мечом, но ни одно из этих жалких проклятий никак не сказалось на его все возрастающем величии и всеустрашающей славе. Наоборот, чем больше его проклинали, тем больше пренебрегал он стонами и жалобами, обращенными к Небесам. И однако же бывали случаи, когда нет-нет, да и закрадывались в душу тяжкие сомнения и опасения, как бы не прогневить Небо, как бы не навлечь на себя небесные кары. И тогда великий хан замирал на некоторое время, подавлял себя в себе, давал подданным слегка передохнуть и готов был принять справедливый укор Неба и даже покаяться. Но Небо не гневало, ничем не проявляло своего недовольства и не лишало его своей безграничной милости. И он, как в азартной игре, все больше шел на риск, на вызов тому, что считалось небесной справедливостью, испытывал терпение Неба. И Небо терпело! И из этого он делал вывод, что ему все дозволено. И с годами укреплялся в уверенности, что он и есть избранник Неба, что он и есть Сын Неба.

И не потому уверовал он в то, во что уверовать можно лишь в сказках, что на великих празднествах певцы верховые, разъезжая перед толпами, слагали песни, именуя его Небом Рожденным, и тысячи рук, ликуя, воздевались к Небу при этом — то была низкая людская лесть. А заключал он из собственного опыта

— Божественное Небо покровительствует ему во всех делах потому, что он отвечает помыслам самого Неба-Тенгри, иначе говоря, он — проводник воли Верховного Неба на земле. А Небо, как и он, признает только силу, только проявления силы, только носителя силы, коим он себя и почитал...

Иначе чем было бы объяснить то, что порой дивило и его самого, — стремительное восхождение, подобное взмывающему соколу, к высотам грозной и головокружительной славы, к повелительству миром мальчишки-сироты из обедневшего рода мелких аратов-князей, что жили испокон века охотой да скотоводством. Как могло случиться такое небывалое в истории овладение гигантской властью — ведь, в лучшем случае, жизнь могла бы уготовить отчаянному сироте судьбу лихого налетчика-конокрада, кем он и был поначалу. Гадать не приходилось — без промысла Неба-Тенгри однолошадного Темучина никогда не осенило бы знамя с золотыми, огнеизрыгающими драконами, и никогда бы не

именоваться ему Чингисханом и не восседать под куполом Золотой юрты!..

И вот подтверждение тому, что все именно так, вот явилось неопровержимое свидетельство, наглядное доказательство Небесного благорасположения к хагану Азии! Вот оно перед взором, чудесное облако, заведомо предсказанное бродячим прорицателем, который чуть было не поплатился головой за свое юродство. Но слова его сбылись! Белое облако — послание Неба Небесному Сыну, знак одобрения и благословения, провозвестник великих грядущих побед.

Никому из многих тысяч людей в походе не приходило в голову, что может быть такое чудо, и никто не замечал попутного белого облака, никому не приходило в голову, откуда оно и зачем оно. Разве кто следит за вольными облаками?.. И лишь он, великий хаган, возглавляющий степную армаду и ведущий ее на новое покорение мира, понял великий смысл появления белого облачка и был поражен невероятной догадкой, и то верил, то не верил в возможность такого неслыханного явления. Им овладевали тягостные сомнения — стоит делиться своими наблюдениями и мыслями или не стоит. А что если он раскроется, поделится тайной, а облако возьмет да исчезнет в мгновение ока? Не подумают ли люди, что он выжил из ума? Потом он снова укреплялся духом и верил, что это облако не пустое, что оно не исчезнет вдруг, что оно ниспослано Небом как знак, и тогда его охватывала радость, ощущение могучей окрыленности, веры в свою прозорливость, в безошибочность предпринятого им похода на завоевание Запада, и он еще больше утверждался в намерении мечом и огнем создать вожделенную мировую империю. С чем и шел. То и было извечной страстью ненасытного владычества. Чем больше имел, тем больше хотелось...

И потекли дни похода.

А белое облако в вышине, никуда не отклоняясь, плавно плыло перед взором Чингисхана, восседавшего на своем знаменитом иноходце Хубе. Грива белая, а хвост черный, таким уродился. Знатоки утверждали, что такой конь появляется под особой звездой один раз в тысячу лет. То был поистине непревзойденный ходок, не скакун, а неутомимый ходок. Хуба шел иноходью, в постоянно напряженном темпе, как зарядивший ливень, проливаясь на землю горячим

дыханием. Не будь удил, такой конь готов иссякнуть в горячем усердии, иссякнуть до капли, как пролившийся дождь. В старину один певец сказал: на таком коне человеку верится, что он бессмертен...

Доволен, счастлив был Чингисхан. Ощущая в себе небывалый прилив сил, он жаждал действовать, мчаться к цели, точно сам был неутомимым иноходцем, точно сам стелился в размеренном неиссякаемом беге, точно слился, как сливаются реки, телом и духом с бушующим круговоротом крови бегущего коня.

Да, седок и конь были под стать друг другу, — сила с силой перекликались. И оттого посадка седока походила на соколиную позу. Ступени плотно сидящего в седле коренастого, бронзолицего всадника упирались в стремяна вызывающе горделиво и уверенно. Он сидел на коне, как на троне, прямо, с высоко поднятой головой, с печатью каменного спокойствия на скуластом узкоглазом лице. От него исходила сила и воля великого владыки, ведущего несметное войско к славе и победам...

И особой причиной вдохновенного состояния Чингисхана было белое облако над его головой как символ, как венец великой предназначенности. И все в этом смысле соотносилось одно с другим. Облако... Небо... Впереди же по ходу движения развевалось в руках знаменосца походное знамя, которое было всегда там, где находился Чингисхан. Их было трое при знамени, трое знаменосцев, внушительных и гордых доверенным им исключительно почетным делом. Все трое как на подбор — на одинаковых вороных конях. В середине — держащий древко, а по сторонам с пиками наперевес — его сопровождающие. Осеняя путь хагана, шитое шелком и золотом черное полотнище трепетало на ветру, и вышитый на нем дракон, исторгавший яркое пламя из пасти, казался живым. Дракон был в летучем прыжке, и глаза его, всевидящие во гневе, выпученные, как у верблюда, металась вместе с полотнищем по сторонам, точно и в самом деле живые...

С раннего утра неутомимый хаган с седла руководил походом. К нему с разных сторон скакали нойоны с донесениями и, получив указания на ходу, возвращались от него галопом на свои места в движущемся войске. Надо было поспешать, чтобы до предзимних дождей и распутицы достигнуть главного препятствия в походе — берегов великой реки Итиль — с тем, чтобы, дождавшись холодов,

переправиться по ледяной тверди и двинуться дальше к заветной цели, к покорению Запада.

До позднего вечера длился поход. Предсумеречная степь простиралась в пологих лучах заходящего солнца так далеко, как только можно было представить себе обширность зримого мира. И в том озаренном пространстве, окрашенном рдеющим солнцем, уже наполовину ушедшим за горизонт, двигались на закате колонны, тысячи конников, каждое войско в своих пределах, и все уходило в сторону заходящего солнца, напоминая издали течение черных рек, затуманенных мглой.

Натруженные спины коней отдыхали от седел и всадников лишь по ночам, когда войско останавливалось на ночлег.

Но рано утром на привалах снова гремели добулбасы — огромные барабаны из воловьих кож, понуждая армию к возобновлению похода. Всколыхнуть ото сна десятки тысяч людей не так просто. И побудчики усердствовали — несмолкаемый грохот добулбасов разносился окрест тяжким рокотом по всем лагерям и стоянкам.

К тому часу хаган уже бодрствовал. Он просыпался едва ли не первым и, прохаживаясь возле дворцовой юрты светлыми еще осенними утрами, сосредоточивался в себе, обдумывал мысли, набежавшие за ночь, отдавал указания и между делом внимательно вслушивался в гул барабанов, поднимающих войско в седла и на колеса. Начинался очередной день, умножались голоса, движения, звуки, заново начинался прерванный на ночь поход.

И гремели барабаны. Их утренний гул был не только сигналом к подъему, но заключал в себе и нечто большее. Так понукал Чингисхан каждого, кто шел вместе с ним в великом походе, — то было напоминанием взыскующего и непреклонного повелителя, врывающегося грохотом барабанов, точно в закрытые двери, в сознание просыпающихся, опережая тем самым какие бы то ни было иные мысли, нежели те, что исходили от него, навязывались им, его волей, ибо во сне люди не подвластны ни чужой, ни собственной воле, ибо сон — дурная, зряшная, опасная свобода, прерывать которую необходимо с первых мгновений возврата ото сна, вторгаться решительно и грубо, чтобы вернуть их, очнувшихся, снова в явь — к служению, к беспрекословному подчинению, к действиям.

Похожий на бычий рык тяжкий гул барабанов всякий раз вызывал в Чингисхане холодок, связанный с давним воспоминанием: в отрочестве, когда поблизости от него ярились два сцепившихся быка, дико мыча, вскидывая копытами щебень и пыль, он, замороженный их ревом, сам не помнит, как схватил боевой лук и пронзил стрелой задремавшего единокровного брата Бектера, поссорившегося с ним из-за рыбки, выловленной в реке. Бектер дико вскричал, вскочил и снова повалился наземь, обливаясь кровью, а он, Темучин, да, тогда он был всего лишь Темучином, сиротой рано умершего Есугай-баатура, в испуге побежал на гору, взвалив на плечи добулбас, лежавший возле юрты. Там, на горе, он стал бить в барабан, долго и монотонно, а мать его, Аголен, кричала и выла внизу, рвала на себе волосы, проклиная братоубийцу. Потом сбежались другие люди, и все что-то кричали ему, размахивая руками, но он ничего не слышал, упорно колотя в барабан. И никто к нему не подступился почему-то. Он просидел на горе до рассвета, колотя в добулбас...

Мощный гул сотен добулбасов теперь был его боевым кличем, его яростным рыком, его неустрашимостью и свирепостью, его сигналом ко всем, идущим с ним в походе, — внимать, подниматься, действовать, двигаться к цели, к покорению мира. И они пойдут за ним до предела — есть же где-то предел горизонту, и все, что существует на земле, — все люди и твари, обладающие слухом, будут внимать его боевым барабанам, внутренне содрогаясь. И даже тучка белая, с недавних пор неразлучная свидетельница его скрытых дум, не уклоняясь, плавно кружит над головой под утренний бой барабанов. Порывистый ветерок шелестит имперским знаменем с расшитым, похожим на живого, огнедышащим драконом. Вот дракон бежит на ветру по полотнищу, изрыгая яркое пламя из пасти...

Хорошие утра выдавались в эти дни.

И по ночам, на сон грядущий, выходил Чингисхан глянуть на округу. Всюду в пустынных просторах горели костры, полыхая вблизи и мерцая вдали. По боевым лагерям и обозным таборам, на стоянках погонщиков табунов и стад стелились белесые дымы, люди в тот час, употевая, плотали похлебку и наедались вдосталь мяса. Запах мясной варенины, извлекаемой огромными кусками из котлов, привлекал голодное степное зверье. То там, то тут поблескивали во тьме

лихорадочные глаза и доносилось до слуха заунывное подвывание несчастных тварей.

Армия между тем быстро впадала в мертвецкий сон. Лишь оклики ночных дозоров, объезжавших войско на привале, свидетельствовали, что и ночью жизнь шла по строго заведенному порядку. Так и полагалось быть тому — всему свое предназначение, обращенное в конечном счете к единой и высшей цели — неукоснительному и безраздельному служению мирозахватнической идее Чингисхана. В такие минуты, пьянея душой, он постигал собственную суть — суть сверхчеловека — неистребимую, одержимую жажду власти, тем большую, чем большей властью он владел, и отсюда вытекал с неизбежностью абсолютный вывод — нужно лишь то, что соответствовало его власти прибавляющей цели, а то, что не отвечало ей, — не имело права на бытие.

Поэтому и свершилась сарозекская казнь, предание о которой спустя многие времена записал Абуталип Куттыбаев на беду свою...

В одну из ночей на привале конный дозор объезжал расположение войск правого тумена. За пределами боевых лагерей находились стоянки обозов, погонщиков стад и разного рода подсобных служб. Дозор заглянул и в эти места. Все было в порядке. Истомленные переходом, люди спали всюду вповалку — в юртах, в шатрах, а многие под открытым небом у догорающих костров. Тихо было вокруг, и все юрты темны. Конный дозор уже завершал свой досмотр. Их было трое — дозорных. Придерживая коней, они о чем-то говорили между собой. Тот, кто был за старшего, — рослый всадник в шапке сотника — негромко распорядился:

— Ну, все. Вы езжайте, подремлите. А я попляжу еще тут.

Двое верховых удалились. А тот, что остался, тот сотник, сначала внимательно огляделся вокруг, прислушался, потом слез с коня и, ведя его в поводу, пошел мимо скопления обозов и походных мастерских, мимо распряженных повозок шорников, швей и оружейников в сторону одинокой юрты на самой обочине табора. И пока он шел, задумчиво склонив голову и прислушиваясь к звукам, лунный свет, льющийся с выси, смутно высветлял очертания его крупного лица и туманно поблескивающие большие глаза коня, послушно следовавшего за ним.

Сотник Эрдене приближался к юрте, где, должно быть, его ждали. Из юрты вышла женщина в накинутом платке и остановилась, ожидая, возле входа.

— Самбайну^[2], — приглушая голос, поприветствовал он женщину.

— Ну, как дела? — спросил он с беспокойством.

— Все в порядке, все хорошо обошлось, хвала Небу. Теперь уж не тревожься, — зашептала женщина. — Она тебя очень ждет. Слышишь, очень ждет.

— Да я и сам рвался душой! — ответил сотник Эрдене. — Но, как назло, нойон наш решил пересчетом коней заняться. Все три дня никак не мог вырваться, в табунах пропадал.

— Ой, да ты не мучься, Эрдене. Что бы ты тут делал, когда такое случилось? Зачем бы тут на глаза попадался? — Женщина успокоительно покачала головой и добавила: — Самое главное — что благополучно, так легко разродилась. Ни разу даже не вскрикнула, вытерпела. А утром я ее в крытую повозку устроила. И как ни в чем не бывало. Такая она у тебя славная. Ой, что ж это я! — спохватилась встречавшая. — Сокол, прилетевший к тебе на руку, да будет всегда с тобой! — поздравила она. — Имя придумай сыночку!

— Пусть Небо услышит твои слова, Алтун! Мы с Догуланг век будем тебе благодарны, — поблагодарил сотник. — А имя придумаем, за этим дело не станет.

Он передал женщине поводья коня.

— Не беспокойся, сколько надо, столько постерегу, как всегда, — заверила Алтун. — Иди, иди, Догуланг тебя очень ждет.

Сотник выждал немного, как бы собираясь с духом, потом подошел к юрте, приоткрыл тяжелый плотный войлочный полог и, пригнувшись, вступил вовнутрь. В середине юрты горел небольшой очажок, и в его слабом, блеклом отсвете он увидел ее, свою Догуланг, сидящую в глубине жилища, накинув на плечи кунью шубу. Правой рукой она слегка покачивала колыбель, покрытую стеганым одеялом.

— Эрдене! Я здесь, — негромко отозвалась она на появление сотника. — Мы здесь, — улыбаясь и смущаясь, поправила она.

Сотник быстро отстегнул колчан, лук, клинок в ножнах, оставил оружие у входа и подошел к женщине, протягивая руки. Он опустился на колени, и лица их соприкоснулись. Они обнялись, положив головы

на плечи друг другу. И замерли в объятиях, И на том мир как бы замкнулся для них под куполом юрты. Все, что оставалось за пределами этого походного жилища, утратило свою реальность. Реальны были только они вдвоем, только то, что их объединяло в порыве, и крохотное существо в колыбели, которое явилось на свет три дня тому назад.

Эрдене первым разомкнул уста:

— Ну, как ты? Как чувствуешь себя? — спросил он, едва сдерживая учащенное дыхание. — Я так беспокоился.

— Теперь уже все позади, — отвечала женщина, улыбаясь в полутьме. — Не об этом думай. О нем спроси, о нашем сыночке. Он такой крепенький оказался. Так сильно сосет мою грудь. Он очень похож на тебя. И Алтун говорит, что очень похож.

— Покажи мне его, Догуланг. Дай взглянуть!

Догуланг отстранилась и прежде, чем приоткрыть одеяло над колыбелью, прислушалась, невольно настораживаясь, к звукам снаружи. Все было тихо вокруг.

Сотник долго смотрел, силясь угадать свои черты в ничего не выражающем пока личике спящего младенца. Вглядываясь в новорожденного, затаив дыхание, он, может быть, впервые постигал божественную суть появления на свет потомства как замысел вечности. Потому, наверное, и сказал, взвешивая каждое слово:

— Вот теперь я всегда буду с тобой, Догуланг, всегда с тобой, даже если что со мной и случится. Потому что у тебя мой сын.

— Ты — со мной? Если бы! — горестно усмехнулась женщина. — Ты хочешь сказать, что малыш — твое второе воплощение, как у Будды. Я об этом подумала, кормя его грудью. Я держала его на руках, ребенка, которого не было еще три дня назад, и говорила себе, что это ты в новом своем воплощении. И ты об этом подумал сейчас?

— Подумал. Только не совсем так. С Буддой не могу себя сравнивать.

— Можешь не сравнивать. Ты не Будда, ты мой дракон. Я тебя с драконом сравниваю, — ласково прошептала Догуланг. — Я вышиваю на знаменах драконов. Никто не знает — это все ты. На всех знаменах моих — это ты. Бывает, и во сне его вижу, во сне вышиваю дракона, он оживает, и, ты только не смейся, я обнимаю его во сне, и мы

соединяемся, и мы летим, дракон меня уносит, и я с ним улетаю, и в самое сладкое мгновение оказывается — это ты. Ты со мной во сне — то дракон, то человек. И, просыпаясь, я не знаю, чему верить. Я ведь тебе, Эрдене, и прежде говорила — ты мой огненный дракон. И я не шутила. Так оно и было. Это я тебя, твое воплощение в драконе, вышиваю на знаменах. И теперь, выходит, я родила от дракона.

— Пусть будет так, как тебе любо. Но, ты послушай, Догуланг, что я тебе хочу сказать. — Сотник помолчал и молвил затем: — Вот теперь, когда у нас родился ребенок, надо думать, как нам быть. И об этом мы сейчас поговорим. Но раньше я хочу сказать, чтобы ты знала, да ты и так знаешь, но все равно скажу: я всегда тосковал и всегда тоскую по тебе. И самое страшное, чего я боюсь, — не голову потерять в бою, а тоску свою потерять, лишиться ее. Я все время думал, уходя с войсками то в одну, то в другую сторону, как отделить от себя свою тоску, чтобы она не погибла вместе со мной, а осталась бы при тебе. И я ничего не мог придумать, но мне мечталось, чтобы тоска моя превратилась или в птицу, или, может быть, в зверя, во что-то такое живое, чтобы я мог передать тебе это в руки и сказать — вот возьми, это моя тоска, и пусть она будет всегда с тобой. И тогда мне не страшно погибнуть. И теперь я понимаю — мой сын родился от моей тоски по тебе. И теперь он всегда будет с тобой.

— Но мы еще не дали ему имени. Ты придумал ему имя? — спросила женщина.

— Да, — ответил сотник. — Если ты согласишься, назовем его хорошим именем — Кунан!

— Кунан!

— Да.

— А что, очень хорошо. Кунан! Молодой скакун.

— Да. Конь-трехлетка. В самом восходе сил. И грива, как буря, и копыта, как свинец.

Догуланг склонилась над младенцем:

— Послушай, отец твой скажет имя твое!

И сотник Эрдене сказал:

— Имя твое — Кунан. Слышишь, сынок? Имя твое Кунан. Воистину так.

Они помолчали, невольно поддаваясь значимости момента. Ночь была тиха, лишь в таборе по соседству беззлобно взлаяла собака, да

донеслось издали протяжное ржание — быть может, вспомнилась среди ночи коню родина в горах, быстрые реки, густые травы, солнечный свет на спинах коней... Младенец же, обретший имя, безмятежно спал, и судьба его младенческая пока еще спала рядом с ним. Но скоро ей предстояло спохватиться.

— Я подумал не только об имени нашего ребенка, — нарушил молчание сотник Эрдене и, оглаживая усы крепкой ладонью, сказал со вздохом, — я подумал и о другом, Догуланг. Сама понимаешь, тебе с младенцем оставаться здесь нельзя. Надо побыстрей уходить.

— Уходить?

— Да, Догуланг, уходить, и чем быстрее, тем лучше.

— Я тоже думала, но куда уходить и как уходить? А как же ты?

— Сейчас я тебе скажу. Мы уйдем вместе.

— Вместе? Это же невозможно, Эрдене!

— Только вместе. А разве может быть по-другому?

— Но ты подумай, что ты говоришь, ты, сотник правого тумена!

— Я уже думал, крепко думал.

— Но куда ты уйдешь от руки хагана, такого места нет на свете! Эрдене, опомнись!

— Я уже все продумал. Выслушай меня спокойнее. Мы не скрылись поначалу, когда еще можно было, когда еще стояли мы в городах многолюдных, с базарами и бродягами. Не зря я тебе говорил в те дни, Догуланг: обрядимся в тряпье чужеземцев, прибудем к странникам и уйдем скитаться по свету.

— По какому свету, Эрдене? — с горечью воскликнула вышивальщица. — Где для нас такой край, чтобы жить самим по себе? От Бога легче уйти, чем от хагана. Потому мы и не решились, сам понимаешь. Да и кто из войска мог бы решиться на такое. Вот и остались мы с тайной своей между страхом и любовью — ты не мог уйти из войска, тебе это стоило бы головы, я не могла уйти от тебя, мне это стоило бы счастья. И вот мы не одни. С сыночком.

Они тягостно умолкли в нахлынувшей тревоге. И тогда сотник сказал:

— Бывает, люди бегут от позора, от бесчестья, от расплаты за измену; бегут, только бы спастись. Нам придется бежать оттого, что судьба послала нам дитя, но платить придется той же ценой. Ждать пощады не приходится. Хаган от своего повеления никогда не

отступится. Надо уходить, Догуланг, пока не поздно, другого выхода нет. Не качай головой. Другого выхода нет. Счастье и несчастье растут из одного корня. Было счастье, не побоимся теперь беды. Надо уходить.

— Я тебя понимаю, Эрдене, — тихо проговорила женщина. — Ты прав, конечно. Только я вот думаю, что лучше — умереть или остаться жить. Я не о себе. Я с тобой так счастлива, я говорила себе: если надо, умру, только не посмею убить то, что пришло ко мне от тебя. Глупая я или умная, но не поднялась моя рука...

— Не терзайся, не надо, ты не должна так терзаться — жить или не жить! Мы не хотели жертвовать тем, кто еще не родился. Теперь он родился. Теперь надо жить ради него. Убежать и жить. Мы оба хотели сына.

— Я не о себе. Я о другом. Можешь ли ты мне сказать, если меня казнят,

— оставят ли в живых тебя и твоего сыночка?

— Не надо так. Не унижай меня, Догуланг. Разве об этом речь. Ты лучше скажи, как ты чувствуешь себя. Сможешь ли ты отправиться в путь? Ты поедешь в повозке с Алтун, она с тобой, она готова. Я буду рядом верхом, чтобы в случае чего отбиваться...

— Как скажешь, — коротко ответила вышивальщица. — Лишь бы с тобой! Быть рядом...

Опустив головы у колыбели, они снова затихли.

— А скажи, — промолвила Догуланг, — говорят, что скоро войско выйдет к берегам Жаика^[3]. Алтун слышала от людей.

— Пожалуй, через два дня, осталось не так много. А к пойменным местам уже завтра подойдем. Предлесья начнутся, кусты да чащи, а там и Жаик.

— Что, большая, глубокая река?

— Самая великая на пути к Итилю.

— И глубокая?

— Не всякий конь сможет переплыть, особенно где стремнина. А по рукавам — там мельче.

— Значит, глубокая, и течение плавное?

— Спокойная, как зеркало, а есть где и побыстрей. Ты же знаешь, детство мое прошло в жаикских степях — отсюда мы родом. И наши песни все от Жаика. Лунными ночами поются наши песни.

— Я помню, — задумчиво отозвалась вышивальщица. — Ты как-то спел мне песню, до сих пор не могу забыть, песню девушки, разлученной с любимым, она утопилась в Жаике.

— Это старинная песня.

— У меня мечта, Эрдене, хочу сделать такую вышивку на белом шелковом полотне: вода уже сомкнулась, только легкие волны, а вокруг растения, птицы, бабочки, но девушки уже нет, не вынесла она горя. Чтобы, кто увидел эту вышивку, тому печальная песня слышалась над печальной рекой.

— Через день ты увидишь эту реку. Слушай меня внимательно, Догуланг. Ты должна быть готова к завтрашней ночи. Как только я появлюсь с запасным конем, так тут же ты должна выйти с колыбелью, в любой час. Медлить нельзя. Теперь медлить нельзя. Я бы сегодня, сейчас увез бы вас куда глаза глядят. Но кругом степь открытая, нигде не схоронишься, не утаишься, кругом как на ладони, и ночи пошли лунные. А с повозкой по степи от конной погони далеко не ускачешь. Но дальше, к Жаику, начнутся места зарослевые, там все по-иному пойдет...

Они еще долго переговаривались, то умолкая вдруг, то снова принимаясь обсуждать, что им предстоит в преддверии неведомой судьбы грядущей, теперь уже судьбы на троих, с народившимся младенцем. И малыш не заставил себя ждать, чуть погода зашевелился, кряхтя, в колыбели и заплакал, попискивая скулящим щенком. Догуланг быстро взяла его на руки и, смущаясь с непривычки, полуотвернувшись, приложила его к груди, столь знакомой сотнику, неисчислимо раз целованной им в горячем порыве, гладкой и белеющей груди, которую он сравнивал про себя с округлой спинкой притаившейся уточки. Теперь все предстало в новом свете материнства. И сотник просиял взором от удивления и восхищения и, подумав о чем-то, покрутил молча головой, — сколько пришлось пережить в последние дни, и вот свершилось то, что и должно было свершиться в отмеренный природой срок: он — отец, Догуланг — мать, у них — сынок, мать кормит дитя молоком... Тому и положено быть изначально. Трава рождается от травы, и тому воля природы, твари рождаются от тварей, и тому воля природы, и только прихоть человека может встать поперек естества...

Младенец, чмокая, сосал грудь, младенец насыщался, убажаемый грудью-уточкой.

— Ой, щекотно, — радостно засмеялась Догуланг. — Вот ведь какой шустрый оказался. Прилип и не оторвешь, — приговаривала она, как бы оправдываясь за свой счастливый смех. — А правда, он очень похож на тебя, наш Кунан. Наш маленький дракон, сын большого дракона! Вот он открыл глазки! Посмотри, посмотри, Эрдене, и глаза твои, и нос такой же, и губы точь в точь...

— Похож, конечно, очень похож, — охотно соглашался сотник. — Узнаю кого-то, очень даже узнаю.

— То есть, как кого-то? — удивлялась Догуланг.

— Ну себя, конечно, себя!

— А вот возьми, поддержи его на руках. Такой живой комочек. Легкий такой. Как будто зайчика держишь.

Сотник робко принял дитя — сила и весомость его собственных рук оказались в ту минуту излишними, неуместными, и, не зная, как ему быть, как приспособить свои ладони к беззащитному тельцу младенца, он осторожно прижал, вернее, приблизил его к сердцу и, подыскивая сравнение неизведанному доселе ощущению нежности, счастливо улыбаясь тому, что открылось ему в то мгновение, растроганно сказал:

— Ты знаешь, Догуланг, это не зайчонок, это мое сердце в моих руках.

Малыш вскоре заснул. Сотнику же пора было возвращаться на свое место в войске.

Глубокой ночью, выйдя из юрты возлюбленной, сотник Эрдене взглянул на луну, набравшую над осенними сарозеками сияющую силу свечения, и ощутил полное одиночество. Не хотелось уходить, хотелось снова вернуться к Догуланг, к сыну. Таинственные звенящие звуки бездонной степной ночи заворожили сотника. Нечто непостижимое, зловещее открывалось ему в том, что, будучи вовлеченными судьбой в деяния великого хагана, идя вместе с ним в поход на Запад, служа ему, они же подвергались опасности — в любой момент неотвратимая его кара за рождение ребенка могла сокрушить их. Стало быть, в том, что их связывало с Повелителем Четырех Сторон Света, было нечто противоестественное, отныне несовместимое с их собственной жизнью, взаимоисключающее, и

вывод напрашивался один — уходить, обрести свободу, спасти жизнь ребенка...

Вскоре он разыскал неподалеку прислужницу Алтун, которая все это время стерегла его коня, скармливая ему зерно из походной сумы.

— Ну, что, повидал своего сыночка? — живо заговорила Алтун.

— Да, спасибо, Алтун.

— Имя дал ему?

— Имя его — Кунан!

— Хорошее имя. Кунан.

— Да. Пусть Небо услышит. А теперь, Алтун, скажу тебе то, что надо сказать сейчас, не откладывая. Ты мне как родная сестра, Алтун. А для Догуланг с ее ребенком — ты верная мать, посланная судьбой. Не будь тебя, не смогли бы мы быть с ней вместе в походе, страдать бы нам в разлуке. И кто знает, быть может, мы с Догуланг никогда больше и не увиделись бы. Потому что, кто идет с войной, тот встречает войну вдвойне... И я благодарен тебе...

— Я-то понимаю, — проговорила Алтун. — Понимаю, что к чему. Ведь и ты, Эрдене, пошел на такое дело неслыханное! — Алтун покрутила головой, и добавила: — Дай Бог, чтобы все обошлось. — Я-то понимаю, — продолжала она, — в этом великом войске сегодня ты сотник, а завтра оказался бы тысячником-нойоном, в чести на всю жизнь. И тогда бы мы с тобой не говорили о том, о чем сейчас говорим. Ты — сотник, я раба. И тем все сказано. Но ты выбрал другое — как душа твоя повелела. Моя-то помощь тебе — коня подержать. Приставлена я служить твоей Догуланг, сам знаешь, помогать ей в работе. И я привязана к ней всей душой, потому что она, так мне думается, — дочь бога красоты. Да, да! Она и собой хороша, как же! Но я не об этом. Я о другом. В руках у Догуланг волшебная сила — клубки нитей и кусок полотна найдутся у кого угодно, но то, что вышивает Догуланг, никому не повторить. По себе знаю. Драконы у нее бегут по знаменам, как живые. Звезды у нее горят на полотне, как в небе. Говорю же, она мастерица от Бога. И я буду с ней. А если надумали уходить, то и я — с вами. Одной ей не управиться в бегах, ведь только родила.

— Об этом и речь, Алтун. Завтра, ближе к полуночи, надо быть наготове. Будем уходить. Ты с Догуланг и ребенком в повозке, а я сбоку верхом, с запасным конем в поводу. Уйдем в пойму Жаика.

Самое главное, к рассвету подальше скрыться, чтобы с утра погоня не напала на след. А там уйдем...

Они помолчали. И перед тем, как сесть в седло, сотник Эрдене, склонив голову, поцеловал сухонькую ладошку прислужницы Алтун, понимая, что она послана им с Догуланг самим провидением, эта маленькая женщина, плененная многие годы тому назад в китайских краях, да так и оставшаяся до старости прислугой в обозах Чингисхана. Кто она была ему, если подумать: случайной спутницей в коловороте чингисхановского похода на Запад. Но, по сути, — единственной и верной опорой влюбленных в роковую для них пору. Сотник понимал: только на нее он мог положиться, на прислужницу Алтун, и больше ни на кого на свете, ни на кого! Среди десятков тысяч вооруженных людей, шедших в великом походе, кидавшихся с грозными кликами в бои, только она одна, старенькая обозная прислужница, могла встать на его сторону. Только она одна, и больше никто. Так оно потом и случилось.

Уезжая в тот поздний час на своем звездолобом Акжудузе, минуя войска, спящие привалом в лагерях и обозных таборах, думал сотник о том, что предстоит впереди, и молил Бога о помощи ради новорожденного, безвиннейшего существа, ибо каждый новорожденный — это весть от замысла Бога; по тому замыслу кто-то когда-то предстанет пред людьми, как сам Бог, в людском обличий, и все увидят, каким должен быть человек. А Бог — это Небо, непостижимое и необъятное. И Небу знать, кому какую судьбу определить — кому народиться, кому жить.

Сотник Эрдене пытался оглядеть с седла звездное пространство, пытался мысленно заклинать Небо, пытался услышать в душе ответ судьбы. Но Небо молчало. Луна одиноко царствовала в зените, незримо проливаясь сиреневым потоком света над сарозекской степью, объятаю сном и таинством ночи...

А наутро снова загрели, зарокотали утробно добулбасы, повелевая людям вставать, вооружаться, садиться в седла, кидать поклажу в повозки, и снова, воодушевляемая и гонимая неукротимой властью хагана, двинулась степная армия Чингисхана на Запад.

То был семнадцатый день похода. Позади оставалась обширнейшая часть сарозекской степи — наиболее труднопроходимая, впереди предстояли через день-другой

припойменные земли Жаика, и дальше путь лежал к великому Итилю, воды которого делили земной мир на две половины — Восток и Запад.

И все было, как и прежде. Впереди на гарцующих вороних двигались знаменосцы. За ними в сопровождении кезегулов и свиты — Чингисхан. Под седлом у него шел размеренным тропом любимый иноходец Хуба с белой гривой и черным хвостом, и, тайно радуя взор, подымая в сердце хагана и без того с трудом сдерживаемую гордыню, над головой его, как всегда, плыла неразлучная спутница — белая тучка. Куда он — туда и она. А по земле, заполняя пространство от края и до края, двигалась человеческая тьма на Запад — колонны, обозы, армии Чингисхана. Гул стоял, подобно гулу бушующего вдали моря. И все это множество, вся эта движущаяся лавина людей, коней, обозов, вооружения, имущества, скота были воплощением его, Чингисхана, мощи и силы, все это шло от него, источником всего этого были его замыслы. И думал он в седле в тот час все о том же, о чем редко кто из смертных смеет думать, — о вожделенном мировом владычестве, о единой подлунной державе на вечные времена, коей дано будет ему править и после смерти. Как? Через его повеления, заблаговременно высеченные на скрижалях. И покуда будут стоять скалы с надписями-повелениями, указывающими, как править миром, пребудет на свете и его воля. Вот о чем думал хаган в тот час в пути, и захватывающая мысль о надписях на камнях как способе достижения бессмертия уже не давала ему покоя. Он решил, что займется этим зимой, на берегу Итиля. В ожидании переправы он соберет совет ученых, мудрецов и предсказателей и выскажет свои золотые мысли о вечной державе, выскажет свои повеления, и они будут высечены на скалах. Эти слова перевернут мир, и весь мир припадет к его стопам. С тем он и шел в поход, и все сущее на земле должно было служить этой цели, а все, что противоречило ей, все, что не способствовало успеху похода, подлежало устранению с пути и искоренению. И снова стали слагаться стихи:

Алмазным навершием державы моей
Водружу сверкающий месяц
в небе... Да!..

И муравей на тропе не уклонится
От железных копыт моей
армии... Да!..

Переметную суму истории
С потного крупа коня моего
Благодарные потомки снимут,
Постигая цену могущества... Да!..

Случилось так, что именно в этот день, пополудни, доложили Чингисхану о том, что одна из женщин в обозе родила — вопреки строжайшему на то его ханскому запрету. Родила ребенка — неизвестно от кого. Сообщил об этом хептегул Арасан. Краснощекий хептегул, с бегающими глазками, всегда все знающий и неутомимый, и на этот раз первым принес известие. «Мой долг доложить тебе, величайший, все, как есть, поскольку на этот счет сделано тобой предупреждение», — похрипывая — жирок душил его, — заключил свое донесение хептегул Арасан, скача с хаганом стремя в стремя, чтобы лучше были слышны его слова на ветру.

Чингисхан не сразу внял, не сразу ответил хептегулу. Сосредоточенный в тот миг на мыслях о заветных скрижалях, он не сразу поддался нахлынувшей досаде и долго не хотел признаться себе в том, что не ожидал, что подобное известие так подействует на него. Чингисхан молчал оскорбленно, с досады прибавил ходу коню, и полы его легкой собольей шубы разлетались по сторонам, как крылья испуганной птицы. А хептегул Арасан, поспешая рядом, оказался в затруднительном положении, не зная, как ему быть, он то придерживал поводья, чтобы не гневить излишне хагана своим присутствием рядом, то снова шел стремя в стремя, чтобы быть готовым расслышать слова, коли они будут произнесены, и не понимал, не мог взять в толк причины столь долгого молчания владыки — что стоило тому изречь всего два слова: казнить ее, — и в тот же час там, в обозах, задавили бы и эту женщину, и ее выродка, коли она осмелилась родить наперекор высочайшему запрету. Задушили бы дерзкую, закатав в кошму, — другим в назидание, — и делу конец.

Вдруг хаган резко бросил через плечо, да так, что хептегул даже привстал в седле:

— Так почему, пока не разродилась это обозная сука, никто не заметил, что она брюхата? Или видели, да помалкивали?

Хептегул Арасан подался было объяснить, как это могло произойти, слова его оказались сбивчивы, и хаган властно осек его:

— Помолчи!

Спустя немного времени он желчно спросил:

— Коли она ничейная жена, так кто же она, эта разродившаяся в обозах, — повариха, истопница, скотница?

И был крайне удивлен, что роженицей оказалась вышивальщица знамен, поскольку никогда прежде не приходило ему в голову, что кто-то этим занимается, кто-то кроит и вышивает его золотые стяги, так же, как не думал он о том, что кто-то тачает ему сапоги или сооружает очередные юрты, под куполом которых протекала его жизнь. Не думалось прежде о таких мелочах. Да и с чего бы, разве знамена не существовали сами по себе, рядом с ним и в его войске повсюду, возникая, как загодя разводимые костры, раньше, чем появлялся он сам, на лагерных стоянках, в движущейся коннице, в сражениях и на пирах. Вот и сейчас — впереди гарцевали знаменосцы, осеняя его путь. Он шел походом на Запад с тем, чтобы установить там свои стяги, отшвырнув на истоптание чужие знамена. Так оно и будет... Ничто и никто не посмеет встать на его пути. И любое, даже малейшее неповиновение кого-либо из идущих с ним на покорение мира будет пресекаться не иначе как смертной карой. Кара ради повиновения — таково неизменное орудие власти одного над многими.

Но в случае с этой вышивальщицей повинна не только она, но и еще кто-то, безусловно, находящийся в обозах или в войске... Но кто он?..

С этого часа Чингисхан омрачился, что было заметно по его окаменевшему лицу, тяжелому взгляду немигающих рысьих глаз и напряженной, как против ветра, посадке в седле. Но никто из осмеливавшихся приблизиться к нему по неотложным делам не знал, что омрачился хаган не столько потому, что обнаружился вызывающий факт непослушания какой-то вышивальщицы и ее неизвестного возлюбленного, сколько потому, что случай этот напомнил ему совсем другую историю, оставившую горький, неизгладимый, постыдный след в его душе.

И снова, кровотока, обжигая душу, припомнилось ему пережитое в молодости, когда он еще носил свое исконное имя Темучин, когда никто еще не мог предположить, что в нем, сироте, безотцовщине Темучине, грядет Повелитель Четырех Сторон Света, когда и сам он еще не помышлял ни о чем подобном. Тогда, в далекой молодости, пережил он трагедию и позор. Молодая, посватанная родителями еще с детства, жена его Бортэ в дни медового месяца была похищена при набеге соседнего племени меркитов, и, пока он сумел отбить ее в

ответном набеге, прошло немало дней, много дней и ночей, подсчитывать которые с точностью у него не хватало сил и теперь, когда он шел с многотысячным войском на завоевание Запада, дабы утвердить и сделать навеки недосягаемым на троне мирового господства свое имя, дабы все затмить и... все забыть.

В ту далекую ночь, когда подлые меркиты беспорядочно бежали после трехдневной кровопролитной схватки, когда они бежали, бросив табуны и стойбища, бежали под страшным, беспощадным натиском, только бы спасти свои жалкие жизни, от возмездия, когда исполнилась клятва мести, в которой было сказано:

...Древнее, издалека видное свое знамя Я окропил перед походом кровью жертвы, В свой низко рокочущий, обтянутый Воловьей кожей барабан я ударил.

На своего черногривого бегунца я сел верхом.
Свой стеганный панцирь я надел.
Свой грозный меч я в руки взял.
С удит-меркитами я буду биться до смерти...
Весь народ меркитский я истреблю до мальчика,
Пока их земли не станут пустыми...

когда эта страшная клятва исполнилась сполна в ночи, оглашенной криками и воплями, среди бегущих в панике, среди преследуемых удалялась крытая повозка. «Бортэ! Бортэ! Где ты? Бортэ!» — кричал и звал Темучин в отчаянии, кидаясь по сторонам и нигде ее не находя, и когда наконец он настиг крытую повозку и его люди перебили с ходу возниц, то Бортэ откликнулась на зов: «Я здесь! Я Бортэ!» — и спрыгнула с повозки, а он скатился с коня, и они бросились друг другу навстречу и обнялись во тьме. И в то мгновение, когда молодая жена оказалась в его объятиях, целая и невредимая, он ощутил, как неожиданный удар в сердце, незнакомый чуждый запах, должно быть, крепко прокуренных усов, оставшийся от чьего-то прикосновения на ее теплой, гладкой шее, и замер, прикусив губы до крови. А вокруг шла схватка, битва, расправа одних над другими....

С той минуты он уже не ввязывался в бой. Посадив вызволенную из плена жену в повозку, повернул назад, пытаясь совладать с собой,

чтобы не высказать сразу то, что прожгло его. И мучился потом всю жизнь. Понимал — не по своей воле оказалась жена в руках врагов. И, тем не менее, какой ценой удалось ей не пострадать? Ведь ни один волос с ее головы не упал. Судя по всему, Бортэ в плену не была мученицей, нельзя было сказать, что вид у нее был настрадавшийся. Нет, и потом откровенного разговора об этом у них не возникало.

Когда те немногочисленные меркиты, которым не удалось после разгрома откочевать в другие страны или в труднодоступные места, уже не представляли ни малейшей опасности, когда они пошли в пастухи и прислугу, превратились в рабов, никому не понятна была неумолимая жестокость мести Темучина, к тому времени ставшего уже Чингисханом. В результате все те меркиты, которые не сумели бежать, были перебиты. И никто из них не мог уже сказать, что имел какое-либо отношение к его Бортэ в бытность ее в меркитском плену.

Позже у Чингисхана было еще три жены, однако ничто не могло залечить боль от того первого, жестокого удара судьбы. Так и жил хаган с этой болью. С этой кровоточащей, хоть и никому не ведомой, душевной раной. После того как Бортэ родила первенца — сына Джучи, — Чингисхан скрупулезно вычислял, получалось — могло быть и так, и эдак, ребенок мог быть и его, и не его сыном. Кто-то, так и оставшийся неизвестным, нагло посягнувший на его честь, лишил его на всю жизнь покоя.

И хотя тот, другой неизвестный, от которого родила в походе вышивальщица знамен, не имел к хагану никакого отношения, кровь властелина вскипела.

Человеку порой так мало надо, чтобы в мгновение ока мир для него нарушился, перекосясь и стал бы не таким, как был только что — целесообразным и цельно воспринимаемым... Именно такой переворот произошел в душе великого хагана. Все вокруг оставалось таким же, каким было до известия. Да, впереди гарцевали на вороных конях знаменосцы с развевающимися драконовыми знаменами; под его седлом шел, как всегда, иноходец Хуба; рядом и позади на отличных скакунах почтительно поспешала свита; вокруг держалась верная стража — отряды «полутысячников»-кезегулов; на всем пространстве, насколько мог охватить взгляд, двигались по степи войсковые тумены — разящая мощь, и тысячные обозы — их опора. А над головой, над всем этим людским потоком плыло по небу верное

белое облако, то самое, что с первых дней похода свидетельствовало о покровительстве Верховного Неба.

Все было, казалось, прежним, и однако, нечто в мире сдвинулось, изменилось, вызывая в хагане постепенно нарастающую грозу. Стало быть, кто-то не внял его воле, стало быть, кто-то посмел свои необузданные плотские страсти поставить выше его великой цели, стало быть, кто-то умышленно пошел против его повеления! Кто-то из его конников больше алкал женщину в постели, нежели жаждал безупречно служить, неукоснительно повиноваться хагану! И какая-то ничтожная женщина, вышивальщица — разве после нее некому будет вышивать? — пренебрегая его запретом, решила родить, когда все другие обозные женщины закрыли свои чрева от зачатий до особого его разрешения!..

Эти мысли глухо прорастали в нем, как дикая трава, как дикий лес, затемняя злобой свет в глазах, и хотя он понимал, что случай в общем-то ничтожный, что следовало бы не придавать ему особого значения, другой голос, властный, сильный, все более ожесточенно настаивал, требовал сурового наказания, казни ослушников перед всем войском и все больше заглушал и оттеснял иные мысли.

Даже неутомимый иноходец Хуба, с которого хаган в тот день не слезал, почувствовал точно бы дополнительную тяжесть, все более увеличивающуюся, и неутомимый иноходец, всегда мчащийся ровно, как стрела, покрылся мыльной пеной, чего с ним прежде не случалось.

Молча и грозно продолжал путь Чингисхан. И хотя, казалось бы, ничто не нарушало похода, ничто не мешало движению степной армады на Запад, осуществлению его великих замыслов покорения мира, нечто, однако, произошло: какой-то незримый, крохотный камешек покатился с незыблемой горы его повелений. И это не давало ему покоя. Он думал об этом в пути, это его беспокоило, как заноза под ногтем, и, думая все время об одном, он все больше раздражался на своих приближенных. Как они посмели доложить ему только теперь, когда женщина уже родила, а где они были прежде, куда они смотрели, разве так трудно было заметить беременную? И тогда разговор был бы другой — погнажи бы ее в три шеи, как собаку блудливую. А теперь как быть? Когда ему доложили о случившемся, он резко спросил вызванного для объяснений нойона, отвечающего за

обозы, — как так могло случиться, что все это оставалось незамеченным, пока вышивальщица не родила, пока не был услышан верными людьми плач новорожденного? Как могло случиться такое? На что нойон невразумительно отвечал, что-де вышивальщица знамен, по имени Догуланг, жила в отдельной юрте, всегда на отшибе, ни с кем не общалась, ссылаясь на занятость, имела свою повозку, при ней состояла прислужница, а когда к ней приходили по делам, то вышивальщица сидела, обернутая ворохом тканей, обычно шелками вышиваемых знамен. И люди думали, что делает она это просто для красоты, поскольку любит наряжаться. И потому трудно было разглядеть, что она беременна. Кто отец новорожденного — неизвестно. Вышивальщицу еще пока не допрашивали. Прислужница же твердит, что ничего не знает. Пойди ищи ветра в поле...

Чингисхан с досадой думал о том, что эта история недостойна его высокого внимания, но поскольку запрет на деторождение установлен им самим и поскольку каждый из войсковых старшин, боясь за свою голову, спешил донести о случившемся вышестоящему, то он, хаган, оказался заложником собственного высочайшего повеления. Отступить от своего повеления он не мог. И кара была неминуема...

Около полуночи сотник Эрдене, сославшись на спешные поручения, сказал, что направляется к тысячному, но то был лишь повод выйти из лагеря, чтобы той же ночью бежать вместе со своей возлюбленной. Он не знал еще, что хагану уже все известно, не знал, что бежать ему с Догуланг и ребенком не удастся.

Ведя запасного коня в поводу, точно охотничью собаку на привязи, сотник Эрдене благополучно обошел лагеря и, приближаясь к обозу, вблизи которого обычно располагалась юрта Догуланг, молил Бога лишь об одном — чтобы не напороться вдруг на нойонский объездной дозор. Нойонский дозор — самый придирчивый и жестокий, если вдруг заметит кого-нибудь из конников нетрезвым, выпившим случаем молочной водки, никогда не пощадит, заставит впрячься в повозку вместо коня, а возница будет погонять кнутом...

Покинув свою сотню, уходя в бега, Эрдене знал, что, если его поймают, ему грозит высшая кара — удушение кошмой или предание

смерти через повешение. Другой исход мог быть лишь в случае, если удастся бежать, уйти в далекие края, в иные страны.

Ночь в степи и в этот раз стояла лунная. Повсюду располагались лагеря, табуны, повсюду вповалку у тлеющих костров спали воины. Среди такого количества людей и обозов мало кому было дела до того, кто куда передвигается. На это и рассчитывал сотник Эрдене, и ему с Догуланг и сыном удалось бы бежать, если бы не судьба...

Что случилась беда, он понял тотчас же, как приблизился к табору мастеровых. Соскочив с седла, сотник замер в тени коней, крепко держа их под уздцы. Да, случилась беда! Возле крайней юрты горел большой костер, освещая округу тревожно полыхающим светом. С десятков верховых жасаулов, громогласно переговариваясь, топтались возле костра на конях. Те, что спешили, их было человека три, запрягали повозку, ту самую, на которой они с Догуланг собирались бежать этой ночью. Потом Эрдене увидел, как жасаулы вывели из юрты Догуланг с ребенком на руках. Она стояла в свете костра в своей куньей шубе, прижимая дитя к себе, бледная, беспомощная, напуганная. Жасаулы о чем-то ее спрашивали. Доносились возгласы: «Отвечай! Отвечай, тебе говорят! Потаскуха, блудница!» Потом донесся вопль прислужницы Алтун. Да, это был ее голос, безусловно, ее. Алтун кричала: «Откуда мне знать?! За что вы меня бьете? Откуда мне знать, от кого она родила! Не в степи, не сейчас же это случилось! Да, родила она ребенка недавно, сами видите. Так что же, разве вы не можете понять, что девять месяцев назад, выходит, случилось все это?! Так откуда мне знать, когда и с кем у нее было. Зачем вы меня бьете?! А ее зачем страшаете, до смерти напугали, — она же с новорожденным! Разве она не служила вам, не расшивала ваши боевые знамена, с которыми вы идете в поход? За что теперь убиваете, за что?»

Бедная Алтун, как травинка под копытом, что она могла поделывать, когда сам сотник Эрдене не посмел сунуться, да и что бы он мог против десятка вооруженных жасаулов?! Разве что погибнуть, унеся с собой одного или двоих? Но что бы это дало? Тем и берут всегда жасаулы — сворой своей. Только и ждут, чтобы кинуться всей сворой, чтобы терзать, чтобы кровь лилась!

Сотник Эрдене видел, как жасаулы усадили Догуланг с ребенком на повозку, туда же бросили прислужницу Алтун и повезли их куда-то

В НОЧЬ.

И на том все улеглось, все стихло вокруг, стоянка опустела. И только тогда стали слышны в стороне собачий лай, ржание лошадей, какие-то невнятные голоса на привалах.

У юрты вышивальщицы Догуланг догорал костер. Поглотив суету, муки борения людские, бесстрастно глядели безмятежно сияющие, беззвучные звезды на опустевшее пространство, точно тому, что случилось, и следовало быть...

Двигаясь, как во сне, сотник Эрдене нащупал онемевшими вмиг, похолодевшими руками узду на голове запасного коня, стащил ее, не ощущая собственных усилий, и бросил коню под ноги. Глухо брякнули удила. Эрдене услышал свое стесненное дыхание, дышать становилось все тяжелее. Но он еще нашел в себе силы, чтобы прихлопнуть лошадь по холке. Эта лошадь теперь была ни к чему, теперь она была свободна, никакой нужды в ней не было, и она побежала себе рысцой в ближайший ночной табун. А сотник Эрдене бесцельно побрел по степи, не ведая сам, куда идет, зачем идет. За ним тихо ступал в поводу его звездолобый Акжулдуз — верный и неразлучный боевой конь, на котором сотник Эрдене ходил в сражения, но на котором так и не удалось ускакать, угоняя от злой судьбины повозку с любимой женщиной и народившимся ребенком.

Эрдене шел наугад, как слепой; глаза его были полны слез, стекавших по мокрой бороде, и ровно струящийся лунный свет судорожно колыхался на его согбенных, вздрагивающих плечах... Он брел, как изгнанный из стаи одинокий дикий зверь, предоставленный в целом мире самому себе: сможешь жить — живи, не сможешь — умри. И больше никакого выбора... Что было делать теперь ему, куда было деваться? Не оставалось ничего, кроме как умереть, убить себя ударом ножа, ударом в грудь, в нестерпимо ноющее сердце, и тем самым унять, прекратить эту сжигающую его боль или же исчезнуть, сгинуть, сбежать, затеряться где-нибудь навсегда...

Сотник упал на землю и, глухо рыдая, пополз на животе, обдирая о камни ладони и ногти, но земля не расступилась, потом он поднялся на колени и нащупал на поясе нож...

В степи было безмолвно, пустынно и звездно. Лишь верный конь Акжулдуз терпеливо стоял рядом в лунном озарении, всхрапывая, в ожидании приказа хозяина...

В то утро, прежде чем двинуться в поход, барабанщики, заранее собранные на холме, ударили сигнал сбора войска. И, ударив, добулбасы уже не стихали, сотрясая округу нарастающим, надсадным гулом тревоги. Барабаны из воловьих кож рокотали, ярились, как дикие звери в западне, созывая на казнь блудницы, вышивальщицы знамен, — мало кто знал, что имя ее Догуланг, — родившей в походе ребенка.

И выстраивались под шаманский гул барабанов конные когорты при всем оружии, как на параде, полукружьем вокруг холма, сотня за сотней, а по флангам располагались обозы с поклажей и на них весь подсобный люд, всякого рода походные мастеровые — юртовщики, оружейники, шорники, швеи, мужчины и женщины, все молодые, все плодоносящей поры. Это всем им в устрашение и назидание устраивалась показательная казнь. Всякий, посмевший нарушить повеление хагана, будет лишен жизни!

Добулбасы продолжали греметь на холме, холодя кровь в жилах, вызывая в душах оцепенение страха, а потому и согласие с тем, чему предстояло быть по воле Чингисхана, и даже одобрение тому.

И вот под гул несмолкающих добулбасов на холм пронесли в золотом паланкине самого хагана, учинявшего казнь опасной ослушницы, так и не назвавшей имени того, от кого она родила. Паланкин опустили на рыжем холме посреди знамен, купающихся в первых лучах солнца, развевающихся на ветру, с расшитыми шелком огнедышашими драконами. Это его, хагана, символом был дракон в могучем прыжке, но он и не подозревал, что вышивальщица, одухотворившая шитье, имела в виду не его, а другого. Того, кто был драконом, стремительным и бесстрашным в ее объятиях. И никому вокруг было невдомек, что за это она теперь и расплачивалась головой.

И та минута приближалась. Барабаны постепенно сбавляли громкость с тем, чтобы смолкнуть перед казнью, накаляя этим напряженную тишину, когда в страшном ожидании время расплывается, распадается и замирает, и затем снова оглушительно и яростно загрохотать, сопровождая процесс пресечения жизни диким рокотом, завораживая им, вызывая в опьяненном сознании каждого

очевидца экстаз слепой мести, злорадство и тайную радость, что казни через повешение подвергается не он, а кто-то другой.

Барабаны смирились. И все собравшиеся были напряжены, даже кони под всадниками замерли. Каменно-напряженным было и лицо самого Чингисхана. Жестко сжатые губы и немигающий холодный взор узких глаз выражали нечто змеиное.

Барабаны смолкли, когда из ближайшей к месту казни юрты вывели вышивальщицу знамен Дугуланг. Дюжие жасаулы подхватили ее под руки и втащили в повозку, запряженную парой коней. Дугуланг стояла в повозке, поддерживаемая сзади стоящим рядом сумрачным молодым жасаулом.

Люди в рядах загудели, особенно женщины: вот она, та самая вышивальщица! Блудница! Ничейная жена! Хотя ведь могла при своей молодости и красе быть второй или третьей женой какого-нибудь нойона! А был бы он к тому еще и старец какой — и того лучше. Горя не знала бы. Так нет, завела себе любовника и родила, бесстыжая! Все равно что плюнула в лицо самого хагана! А теперь пусть расплачивается. Пусть ее вздернут на горбу верблюжьем! Доигралась, красотка! Этот безжалостный суд молвы был продолжением злобного гула добулбасов, для того и гремели барабаны из воловьих кож так настойчиво и оглушительно, чтобы ошеломить, возбудить ненависть к тому, кого возненавидел сам хаган.

— А вот и прислужница с ребенком! Смотрите! — вскричали, злорадствуя, обозные женщины. То действительно была прислужница Алтун. Она несла новорожденного, завернутого в тряпье. В сопровождении громилы-жасаула, боязливо оглядываясь, вся съежившись, Алтун шла у повозки, как бы подтверждая своей ношей преступность вышивальщицы, приговоренной к смерти.

Так их вели для устрашающего обозрения перед казнью. Дугуланг понимала, что теперь иного исхода быть не могло: никакого прощения, никакого помилования.

В юрте, откуда их выволокли на позор, она успела покормить ребенка грудью в последний раз. Ничего не ведая, несчастное дитя усердно чмокало, пребывая в дремотном легком сне под вкрадчиво стихающие звуки барабанов. Прислужница Алтун была рядом. Сдавленно плача, удерживаясь от громких рыданий, она то и дело

зажимала себе рот ладонью. И в те минуты им удалось перебраться несколькими словами.

— Где он? — тихо шепнула Догуланг, торопливо перекладывая ребенка от одной груди к другой, хотя понимала, что Алтун не могла знать того, чего не знала она сама.

— Не знаю, — ответила та в слезах. — Думаю, далеко.

— Только бы! Только бы! — взмолилась Догуланг. Прислужница горько покивала в ответ. Обе они думали об одном — только бы удалось сотнику Эрдене скрыться, ускакать подальше, исчезнуть с глаз долой.

За юртой послышались шаги, голоса:

— Ну, тащи их! Волоки!

Вышивальщица в последний раз прижала ребенка, горестно вдохнула его сладковатый запах и дрожащими руками передала его прислужнице:

— Пока проживет, присмотри...

— Не думай об этом! — Алтун захлебнулась от комка слез и больше уже не могла сдерживаться. Зарыдала громко и отчаянно.

И тут жасаулы поволокли их наружу.

Солнце уже поднялось над степью, зависнув над горизонтом. Со всех сторон за скоплением войск и обозов, готовых двинуться в поход после казни вышивальщицы, простирались сарозеки — великие степные равнины. На одном из холмов сиял золотистый паланкин хагана. Выходя из юрты, Догуланг успела увидеть краем глаза этот паланкин, в котором сидел сам хаган — недоступный, как Бог, а вокруг паланкина развевались на степном ветерке расшитые ее же руками знамена с огнедышащими драконами.

Чингисхану, восседавшему под балдахином, все было хорошо видно с того холма — и степь, и войско, и обозный люд, а в вышине, как всегда, плыла над его головой верная белая тучка. Казнь вышивальщицы задерживала в то утро поход. Но следовало сделать одно, чтобы продолжить другое. Предстоящая казнь была не первой и не последней казнью в его присутствии — самые различные случаи ослушания карались именно таким способом, и всякий раз хаган убеждался, что прилюдная казнь необходима для повиновения народа единому, верховным лицом установленному порядку, поскольку и страх, и низменная радость, что насильственная смерть постигла не

тебя, заставляет людей воспринимать страшную кару как должную меру наказания и потому не только оправдывать, но и одобрять действия власти.

И в этот раз, когда вышивальщицу вывели из юрты и заставили ее взойти на повозку для позорного объезда, люди, как рой, загудели, задвигались. На лице же Чингисхана не дрогнул ни один мускул. Он сидел под балдахинном в окружении развевающихся знамен и застывших у древков, словно каменные истуканы, кезегулов. Объявленная казнь на то и была рассчитана — всякий да будет знать — даже малейшая помеха на пути великого похода на Запад недопустима. В душе хаган понимал, что мог бы не прибегать к столь жестокой расправе над молодой женщиной, матерью, мог бы помиловать ее, но не видел в том резона — всякое великодушие всегда оборачивается худо — власть слабеет, люди наглеют. Нет, он ни в чем не раскаивался, единственное, чем он был недоволен, — что так и не удалось выявить, кто же был возлюбленным этой вышивальщицы.

А она, приговоренная к смерти через повешение, уже следовала на повозке перед строем войска и обозов, в разодранном на груди платье, с растрепанными волосами — черные густые космы, сияющие угольным блеском на утреннем солнце, скрывали ее бескровное, бледное лицо. Дугуланг, однако, не склонила головы, смотрела вокруг опустошенным, скорбным взглядом, — теперь ей нечего было утаивать от других. Да, вот она, возлюбившая мужчину больше жизни своей, вот ее запретное дитя, рожденное от этой любви!

Но людям хотелось знать, и они кричали:

— Кобыла, а где же твой жеребец? Кто он?

И самовозбуждаясь и ожесточаясь от неосознанного чувства вины, толпа возопила, чтобы побыстрее освободить себя от низменного греха:

— Повесить суку! Повесить сейчас же! Чего тут ждать?

Устроители казни, должно быть, на то и рассчитывали, что неистовствующая толпа сможет сломить дух вышивальщицы. От ханского окружения отделился верховой, один из нойонов, зычноголосый, бравый вояка, готовый ради хагана и на это дело. Он подскакал к скорбной процессии — повозке с обреченной вышивальщицей и идущей рядом прислужнице с ребенком на руках.

— А ну, стойте, — остановил он их и, обращаясь к конным рядам, громко выкрикнул: — Слушайте все! Эта бесстыжая тварь должна указать, от кого она родила! С кем она путалась! А теперь скажи, есть ли среди этих мужчин отец твоего ребенка?

Догуланг отвечала, что нет. Настороженный гул прокатился по рядам.

Повозка двигалась от сотни к сотне, а сотни перекликались:

— У меня не оказалось! Может, ловкач тот в твоей сотне?

Тем временем зычноголосый снова и снова требовал от вышивальщицы, чтобы она указала на того, кто был отцом новорожденного. Вот снова повозку остановили перед отрядом конников, и снова вопрос:

— Укажи, блудница, от кого ты родила?

Именно в этом строю, в голове отряда находился сотник Эрдене на своем звездолобом коне Акжулдузе. Взгляды Догуланг и Эрдене встретились. В общем гаме и суете никто не обратил внимания, как трудно отводили они глаза друг от друга, как вздрогнула Догуланг, откидывая со лба разметавшиеся волосы, как на мгновение вспыхнуло ее лицо и тут же угасло. И только сам Эрдене мог представить себе, чего стоила Догуланг эта молниеносная встреча глазами — какой радостью и какой болью обернулось для нее это мгновение. На вопрос зычноголосого нойона опомнившаяся Догуланг, взяв себя в руки, снова твердо ответила:

— Нет, нет здесь отца моего ребенка!

И опять никто не обратил внимание на то, что сотник Эрдене уронил голову, но тут же усилием воли заставил себя принять невозмутимый вид.

А палачи были уже наготове. Трое в черных балахонах с закатанными рукавами вывели на середину двугорбого верблюда, настолько громадного, что всадник в седле головой доставал лишь до середины верблюжьего брюха. За отсутствием леса в открытых степных пространствах кочевники издавна прибегали к такому способу казни — осужденных вешали на верблюжьем межгорбии

— попарно на одной веревке или с противовесом, которым служил мешок с песком. Такой противовес был уже приготовлен для вышивальщицы Догуланг.

Окриками и ударами палкой палачи заставили зло орущего верблюда опуститься и лечь на землю, подобрав под себя длинные мосластые ноги. Виселица была готова.

Барабаны ожили, слегка рокоча, чтобы в нужный момент загрохотать, оглушая и вздымая души.

И тогда зычноголосый нойон снова обратился к вышивальщице, должно быть, уже на потеху:

— Спрашиваю тебя в последний раз. Тебе, глупая потаскуха, все равно погибать, и выродку твоему не жить! Как тебя понимать все-таки, неужто ты не знаешь, от кого понесла? Может, поднатужишься, припомнишь?

— Не помню, от кого. Это было давно и далеко отсюда, — отвечала вышивальщица.

Над степью прокатился грубый утробный мужской хохот и злорадный женский визг.

Нойон же не унимался с вопросами:

— Так выходит, как понимать, — на базаре где приспособилась, что ли?

— Да, на базаре! — вызывающе ответила Догуланг.

— Торговец или скиталец? А может быть, вор базарный?

— Не знаю, торговец, или скиталец, или вор базарный, — повторила Догуланг.

И опять взрыв хохота и визг.

— А какая ей разница, что торговец, что скиталец или вор — самое главное на базаре этим делом заняться!

И тут неожиданно в рядах воинов раздался чей-то голос. Кто-то сильно и громко крикнул:

— Это я — отец ребенка! Да, это я, если хотите знать!

И все разом стихли, все разом оцепенели — кто же это? Кто это откликнулся на зов смерти в последнюю минуту, навсегда уносившую с собой не выданную вышивальщицей тайну?

И все поразились: прищпоривая своего звездолобого коня, из рядов выехал вперед сотник Эрдене. И, удерживая Акжулдуза на месте, снова повторил громко, оборачиваясь на стремянах к толпе:

— Да, это я! Это мой сын! Имя моего сына — Кунан! Мать моего сына зовут Догуланг! А я сотник Эрдене!

С этими словами на виду у всех он соскочил с коня, хлопнул Акжулдуза наотмашь по шее, — тот отпрянул, а сам сотник, сбрасывая на ходу с себя оружие и доспехи, отшвыривая их в стороны, направился к вышивальщице, которую уже держали за руки палачи. Он шел при полном молчании вокруг, и все видели человека, свободно шедшего на смерть. Дойдя до своей возлюбленной, приготовленной к казни, сотник Эрдене упал перед ней на колени и обнял ее, а она положила руки на его голову, и они замерли, вновь соединившись перед лицом смерти.

В ту же минуту ударили добулбасы, ударили разом и загрохотали, надсадно ревя, как стадо всполошившихся быков. Барабаны взревели, требуя общего повиновения и общего экстаза страстей. И все разом опомнились, все вернулось на круги своя, раздалась команды — всем быть готовыми к движению, к походу. И возглашали барабаны: всем быть, как все, всем исполнять свой долг! А палачи немедленно приступили к делу. На помощь палачам бросились еще трое жасаулов. Они повалили сотника на землю, быстро связали ему руки за спиной, то же самое проделали и с вышивальщицей и подтащили их к лежащему верблюду; быстро накинули общую веревку — одну удавку на сотника, другую, через межгорбье верблюда, — на шею вышивальщицы и в страшной спешке, под несмолкаемый грохот барабанов, стали поднимать верблюда на ноги. Животное, не желая подниматься, сопротивлялось. Верблюд орал, огрызался, злобно лязгая зубами. Однако под ударами палок ему пришлось встать во весь свой огромный рост. И с боков двугорбого верблюда повисли в одной связке, в смертельных конвульсиях, те двое, которые любили друг друга поистине до гроба.

В барабанной суматохе не все заметили, как паланкин хагана понесли с холма. Хаган покидал место казни, с него было довольно; наказание достигло цели, более того, превзошло ожидания — ведь обнаружился-таки тот неизвестный, обладавший вышивальщицей, что постельные утехи ставил превыше всего, им оказался сотник, один из сотников, обнаружился-таки на глазах у всех и понес заслуженную кару, быть может, в отместку за того, давнего неизвестного, так и оставшегося неизвестным, в объятиях которого побывала в свое время его Бортэ, родившая первенца, всю жизнь в глубине души не любимого хаганом...

А барабаны гудели, рокотали яростно и надсадно, сопровождая гулом своим проход верблюда с повешенными телами любовников, разделивших на двоих одну веревку, перекинутую через верблюжье межгорбье. Сотник и вышивальщица бездыханно болтались по бокам вьючного животного, — то было жертвоприношение к кровавому пьедесталу будущего владыки мира.

Добулбасы не смолкали, леденя душу, держа всех в оглушении и оцепенении, и каждый в тот день мог видеть собственными глазами то, что могло случиться и с ним, поступи он вопреки воле хана, неуклонно идущего к своей цели...

Палачи-жасаулы проществовали со своим верблюдом — передвижной виселицей — мимо войска и обозов и, пока они погребали тела умерщвленных в заранее вырытой яме, добулбасы не умолкали, барабанщики работали в поте лица.

Войско тем временем выступило в путь, и снова степная армада Чингисхана двинулась на запад. Полчища конницы, обозы, стада, гонимые для прикорма, оружейные и прочие подсобные мастерские на колесах, все, кто шел в походе, все до единого, поспешно снимались, поспешно покидали то проклятое место в сарозекской степи, все уходило не мешкая, и осталась на покинутом месте лишь одна неприкаянная душа, не знавшая куда себя деть и не посмевавшая напомнить о себе, — прислужница Алтун с ребенком на руках. О ней вдруг все забыли, от нее уходили, словно бы стыдясь того, что она еще существует, все делали вид, что ее не видят, все бежали, как с пожара, всем было не до нее.

Вскоре все смолкло вокруг, никаких добулбасов, никаких возгласов, никаких знамен... Лишь вмятины от копыт, унавоженный путь, указывающий направление похода, — исчезающий след в сарозекской степи...

Покинутая всеми, в оглушительном одиночестве, прислужница Алтун бродила, подбирая у вчерашних очагов остатки подгорелой и брошенной пищи, складывая про запас полуобглоданные кости в сумку, и среди прочего наткнулась на оставленную кем-то овчину, взвалила ту шкуру себе на плечи, чтобы постелить ее на ночь под себя и ребенка, матерью которого она оказалась поневоле...

Поистине Алтун не знала, что ей делать, куда путь держать, как быть дальше, где искать приюта, как прокормить младенца. Пока

светило солнце, она еще могла надеяться на какое-то чудо: а вдруг да улыбнется счастье, вдруг да встретится жилище — затерявшаяся в степи пастушья юрта. Так думалось ей, так пыталась она обнадежить себя, рабыня, получившая нечаянно и свободу, и ту ношу судьбы, о которой она страшилась думать. Ведь новорожденный вскоре проголодается, потребует молока и помрет у нее на глазах от голода. Этого она страшилась. И была бессильна что-либо предпринять.

Единственное и маловероятное, на что могла рассчитывать Алтун, — это обнаружить в степи людей, если таковые существовали в этих пустынных краях, и, если окажется среди них кормящая мать, поднести ей ребенка, а себя предложить в добровольное рабство. Женщина бродила неприкаянно по стопи, шла наугад то на восток то на запад, то снова на восток... Она шла с ребенком па руках без отдыха. День приближался к полудню, когда дитя стало все больше ерзать, хныкать, плакать, просить грудь... Женщина перепеленала младенца и пошла дальше, убаюкивая его на ходу. Но вскоре ребенок заплакал сильнее и уже не утихал, плакал до синевы, и тогда Алтун остановилась и закричала в отчаянии:

— Помогите! Помогите! Что же мне делать?

На всем необозримом степном пространстве не было ни дымка, ни огонька. Безлюдно простиралась вокруг степь, глазу не на чем остановиться... Бескрайняя степь да бескрайние небеса, лишь маленькое белое облачко тихо кружило над головой...

Ребенок корчился в плаче. Алтун взмолилась и запричитала:

— Ну, что же ты хочешь от меня, несчастный?! Ведь тебе от роду седьмой день! На свое несчастье появился ты на этот свет... Чем же мне накормить тебя, сиротиночка? Не видишь — вокруг ни души! Только мы с тобой в целом мире, только мы с тобой, горемычные, и только белая тучка в небе, даже птица не летит, только белая тучка кружит... Куда же мы с тобой пойдём? Чем мне кормить тебя? Покинуты мы, брошены, а отец и мать твои повешены и закопаны, и куда идут люди войной, и зачем сила на силу прет со знаменами да барабанами, и чего ищут люди, обездолив тебя, новорожденного?!

Алтун снова побежала по степи, крепко прижимая к себе плачущее дитя, побежала, чтобы только не стоять, не бездействовать, не разрываться живьем от горя... А младенец не понимал, захлебывался в плаче, требуя своего, требуя теплого материнского

молока. В отчаянии Алтун присела на камень, со слезами и гневом рванула ворот своего платья и сунула ему грудь свою, уже немолодую, никогда не знавшую ребенка:

— Ну, на, на! Убедись! Было бы чем кормить, неужто я не дала бы тебе молока сосать, сиротиночке несчастной! На, убедись! Может, поверишь и перестанешь терзать меня! Хотя что я говорю! Кому я говорю! Что моя пустышка тебе, что мои слова! О, Небо, какое же наказание ты уготовило мне!

Ребенок сразу примолк, завладев грудью, и, приравливаясь всем существом своим к ожидаемой благодати, зачмокал, заработал деснами, то открывая, то закрывая при этом заблестевшие радостно глазки.

— Ну и что? — беззлобно и устало укоряла женщина сосунка. — Убедился? Убедился, что попусту сосешь? Да ты ведь сейчас зайдешься плачем пуще прежнего, и что мне тогда с тобой делать в этой проклятой степи? Скажешь — обман, да разве бы стала я тебя обманывать? Всю жизнь в рабнях хожу, но никогда никого не обманывала, мать еще в детстве говорила, у нас, в роду моем, в Китае никто никого не обманывал. Ну, ну, потешься малость, сейчас ты узнаешь горькую истину...

Так приговаривала прислужница Алтун, готовя себя к неизбежной участи, но — странно ей было, что сосунок, кажется, не собирался отказываться от пустой груди, а наоборот, блаженство светилось на его крохотном личике...

Алтун осторожно вынула из уст младенца сосок и тихо вскрикнула, когда вдруг брызнула из него струйка белого молока. Пораженная, она снова дала грудь ребенку, потом снова отняла сосок и опять увидела молоко. У нее появилось молоко! Теперь она явственно почувствовала прилив некой силы во всем своем теле.

— О, Боже! — невольно воскликнула прислужница Алтун. — У меня молоко! Настоящее молоко! Ты слышишь, маленький мой, я буду твоей матерью! Ты не погибнешь теперь! Небо услышало нас, ты мое выстраданное дитя! Имя твое Кунан, так называли тебя родители, твой отец с матерью, полюбившие друг друга, чтобы явить тебя на свет и погибнуть из-за этого! Поблагодари, дитя, того, кто явил нам это чудо — молоко мое для тебя...

Потрясенная происшедшим, Алтун умолкла, жарко стало, пот выступил на челе. Озираясь вокруг в том бескрайнем пространстве, не заметила, не увидела она ничего, ни единой души, ни единой твари, только солнце светило, и кружила над головой одинокая белая тучка.

Насыщаясь и наслаждаясь молоком, младенец засыпал, тельце его расслаблялось, доверительно покоясь на полусогнутой руке, дыхание становилось ровным, а женщина, позабыв обо всем, что было пережито, преодолевая все еще гудящий в ушах беспощадный бой добулбасов, отдалась неведомым ранее сладостным ощущениям кормящей матери, открывая в том для себя некое благодатное единство земли, неба, молока...

А тем временем поход продолжался... Все дальше на запад катилась заданным ходом великая степная армада завоевателя мира. Войска, обозы, гурты...

В сопровождении стражи и свиты, за знаменосцами с развевающимися знаменами, на которых яростные драконы, расшитые шелками, изрыгали пламя, двигался Чингисхан на своем неизменном и неутомимом иноходце поразительной, как сама судьба, масти — с белой гривой и черным хвостом.

Земля уплывала назад, гудя под литыми копытами иноходца, земля убегала назад, но не убавлялась, а все прирастала, постоянно простираясь до вечно недостижимого горизонта все новыми и новыми пространствами. И не было тому конца и края. И будучи песчинкой по сравнению с бескрайностью и величию земли, хаган жаждал обладать всем, что было обозримо и необозримо, достигнуть признания его Повелителем Четырех Сторон Света. Потому и шел завоевывать, и вел войско в поход...

Хаган был суров и молчалив, как, впрочем, и положено быть тому. Но никто не предполагал, что творилось у него на душе. Никто ничего не понял и тогда, когда вдруг случилось совершенно неожиданное, — когда хаган вдруг круто повернул коня, повернул вспять, так круто, что поспешавшие следом чуть было не столкнулись с ним и едва успели принять в стороны. Тревожно и тщетно обзиревал хаган небеса, прислонив дрожащую ладонь к глазам, нет, не задержалось, не отстало в пути белое облачко, не было его ни впереди, ни позади. Так неожиданно исчезло оно, неизменно сопровождавшее

его белое облачко. Больше оно не появилось ни в тот день, ни на второй, ни на десятый. Облачко покинуло хагана.

Дойдя до Итиля, Чингисхан понял, что Небо отвернулось от него. Дальше он не пошел. Отправил завоевывать Европу сыновей и внуков, сам же вернулся назад в Ордос, чтобы здесь умереть и быть похороненным неизвестно где.»

* * *

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад...

В середине февраля 1953 года среди пассажирских поездов, шедших через сарозекские степи с востока на запад, следовал поезд с дополнительным спецвагоном в голове состава. Безномерной вагон этот, прицепленный сразу за багажным, внешне ничем особо не отличался от остальных, но только внешне, — одна часть спецвагона была почтовым отделением, другая же его половина, наглухо отделенная от почтового блока, служила путевым следственным изолятором для лиц, представлявших особый интерес для органов госбезопасности. Таким лицом благодаря задуманному старшим следователем одного из оперативных отделов госбезопасности Казахстана Тансыкбаевым делу оказался в этот раз Абуталип Куттыбаев. Это его везли в том арестантском отсеке в сопровождении самого Тансыкбаева и усиленной охраны. Везли для очных ставок в другие города.

Тансыкбаев оказался неутомим в достижении поставленной цели — допросы продолжались и в пути. Задача Тансыкбаева заключалась в том, чтобы шаг за шагом выявить подрывную сеть, созданную вражескими спецслужбами из лиц, бежавших при загадочных обстоятельствах из немецкого плена, оказавшихся в Югославии и вошедших там в прямые контакты не только с будущими югославскими ревизионистами, но и с английской разведкой. Необходимо было разоблачить завербованных и затаившихся до срока врагов Советской власти путем неустанных допросов, сличения

показаний, прямых и косвенных улик и, главное, через торжество королевы следствия — полное признание обвиняемыми их вины и раскаяние в содеянном.

Начало тому было уже положено — в процессе допросов Абуталип Куттыбаев припомнил около десятка имен бывших военнопленных, воевавших в Югославии; большинство из них при проверке оказались живыми и здоровыми, проживающими в разных концах страны. Эти люди уже были арестованы и, в свою очередь, на допросах назвали еще много имен, значительно пополнив тем самым список югославских предателей. Одним словом, дело обрастало живой плотью и, с благословения высшестоящего начальства, придерживавшегося мнения, что профилактика в выявлении вражеских элементов никогда не вредна, вступало во вполне серьезную фазу. В случае успеха на фоне разгоравшегося международного конфликта с югославской компартией, предания Тито идеологической анафеме самим Сталиным оно могло оказаться весьма выигрышным и обещало «большой урожай» не только зачинателю процесса Тансыкбаеву, но и многим его коллегам из других городов, проявлявшим чрезвычайную заинтересованность по той же причине — всем им хотелось, пользуясь ситуацией, выдвинуться. Отсюда шла согласованность действий. Во всяком случае, в таких областных городах, как Чкалов (бывший Оренбург), Куйбышев, Саратов, куда везли Абуталипа Куттыбаева на очные ставки и перекрестные допросы, приезда Тансыкбаева ожидали с нетерпением.

Тансыкбаев не терял времени, он любил темпы, напор в работе. От него не ускользнуло, как подействовал на подследственного выезд из места заключения, с какой болью и тоской вглядывался тот сквозь решетку в проносящиеся за окном пристанционные поселки. Тансыкбаев понимал, что происходило у Куттыбаева на душе, и пытался внушить ему, насколько возможно, доверительным тоном, что он, следователь-де, нисколько не желает ему зла, потому как предполагает, что не так уж велика вина самого Куттыбаева, что-де ясно, конечно, что не он, Абуталип Куттыбаев, резидент, руководитель агентурной сети, зарезервированной спецслужбами на случай чрезвычайной ситуации в стране, и если Куттыбаев поможет следствию обнаружить главаря-резидента и, главное, раскрыть,

железно доказать это на очной ставке, то свою участь он этим может облегчить. Очень даже. Смотришь, лет через пять — семь вернется к семье, к детям. В любом случае, если он поможет объективному ведению следствия, высшей меры наказания — расстрела — он избежит, и наоборот, чем больше он будет упорствовать, запутывать дело, скрывать от карательных органов истину, тем хуже для него, тем больше несчастья причинит он своей семье. Может случиться, на закрытом суде выйдет и вышка...

Еще один козырной ход Тансыкбаева заключался в том, что он внушал подследственному: если тот пойдет на сотрудничество, то его записи сарозекских преданий, особенно «Легенда о манкурте» и «Сарозекская казнь», не будут приобщены к делу, и наоборот, если Абуталип этого не сделает, Тансыкбаев предложит суду рассмотреть записанные им тексты как завуалированную под старину националистическую пропаганду. «Легенда о манкурте» — вредный призыв к возрождению ненужного и забытого языка предков, к сопротивлению ассимиляции наций, а «Сарозекская казнь» — осуждение сильной верховной власти, подрыв идеи главенства интересов государства над интересами личности, сочувствие гнилому буржуазному индивидуализму, осуждение общей линии коллективизации, т. е. подчинения коллектива единой цели, отсюда недалеко и до негативного восприятия социализма. А, как известно, любое нарушение социалистических принципов и интересов сурово карается... Недаром тем, кто без санкции подобрал с поля общественный колосок, дают десять лет лагерей. Что уж говорить о собирателе идеологических «колосков»! С такой подачи суд может рассмотреть дополнительные обвинения по дополнительной статье. Для большей убедительности Тансыкбаев несколько раз зачитывал вслух свои четкие умозаключения по поводу сарозекских текстов, не случайно явившихся, как всякий раз он подчеркивал, первым сигналом к аресту Куттыбаева и заведению дела...

Поезд шел уже вторые сутки. И чем ближе к сарозекам, тем больше волновался Абуталип, вглядываясь через зарешеченное окно в наплывающие просторы. В свободные от допросов часы, после тягостных увещаний и яростных угроз, он мог остаться наедине с собой, закрытый в своем арестантском купе, обитом листовым железом. Это тоже была тюрьма, как и алма-атинский полуподвал,

здесь тоже окно было зарешечено, не менее крепко, чем там, здесь тоже в плазок присматривало жесткое око надзирателя, но все же это было движением в пути, переменой мест, и, наконец, здесь он был избавлен от дикого, круглосуточно слепящего света с потолка, и самое главное — теплилась, то возгораясь, то угасая, неутихающая, саднящая душу надежда — увидеть хотя бы мельком детей, жену на полустанке Боранлы-Буранный. Ведь за все это время ни одного письма, ни одной весточки им не смог он отправить, и от них не получил ни единой строчки.

Этими надеждами и тревогами полна была душа Абуталипа с тех пор, как привезли его в крытой тюремной машине на станцию отправления под Алма-Атой и водворили в спецвагон, в купе под стражу. И как только понял он по ходу движения, что поезд идет в сарозекском направлении, так с новой силой застонала, запричитала душа его — увидеть хотя бы краешком глаза, хотя бы на мгновение детишек, Зарипу, и тогда будь что будет, только бы плянуть, узреть мимолетно...

Истосковался он до такой степени, что ни о чем другом теперь и думать не мог, только молил Бога, чтобы проезд через Боранлы-Буранный пришелся на дневное время, чтобы только не ночью, только бы не во тьме, и чтобы поезд через полустанок прошел непременно тогда, когда Зарипа и дети оказались бы на виду, а не в стенах барака.

Вот и все, что он просил у судьбы. И мало, и много. Но если подумать, то, в самом деле, что стоило случаю волей своей распорядиться так, а не иначе, — почему бы детям и Зарипе не оказаться в тот час во дворе, пусть бы детишки играли в свои игры, а Зарипа как раз развешивала бы белье на веревке и оглянулась бы между делом на проходящий поезд, и дети тоже вдруг замерли бы на месте, загляделись бы на мелькающие окна вагонов. А вдруг случилось бы такое, что редко, но случалось, — поезд бы взял да остановился на разъезде на несколько минут! И тут душа Абуталипа разрывалась: и хотела, чтобы счастье такое вдруг приключилось, но лучше бы не надо, — нет, не выдержал бы он такого страшного испытания, умер бы, да и детишек жалко — каково-то бы им пришлось, если б увидели отца в зарешеченном окне, как зашлись бы они в реве... Нет, нет, лучше не видется...

И чтобы укрепить себя, чтобы убедить, заговорить судьбу смилостивиться, чтобы исполнились загаданные желания, он то и дело принимался просчитывать и прикидывать, ориентируясь по железнодорожным приметам, станциям в пути, различные варианты продвижения поезда — важно было установить, в какое время суток должны были они миновать сарозекский разъезд Боранлы-Буранный. Однако сомнения и тревоги не покидали его и тогда, когда расчеты получались благоприятными, ведь поезд мог задержаться, выйти из графика, опоздать, что нередко случалось зимой при больших снегопадах. Самым обидным было бы, если бы поезд проскочил полустанок ночью, когда Зарипа с детишками будут спать, не подозревая, что отец едет мимо в каких-нибудь десятках метров от дома. Вероятность этого нельзя было исключить, и тем больше страдал Абуталип, сознавая свою полную беспомощность и полную зависимость от случая.

И еще очень опасался Абуталип и молил Бога избавить его от этой напасти — как бы кречетоглазый следователь Тансыкбаев не учинил ему очередной допрос именно в тот час, когда они будут проезжать боранлинский разъезд.

Сколько препятствий и опасностей злейшим образом противостояли чистому желанию человека всего лишь мельком увидеть своих родных — такова была цена лишения свободы, и лишь одно радовало и вселяло надежду, что ему повезет, — окно в камере оказалось справа по движению, именно на той стороне, на которой располагался пристанционный барак на разъезде Боранлы-Буранный.

Все эти мысли, страхи, сомнения, втягивая Абуталипа в омут переживаний, отвлекли его от собственной участи, он, всецело погрузившись в напряженное ожидание, уже не думал о себе, не желал вникать в суть происходящего, не отдавал себе отчета в том, чем грозили ему чудовищные обвинения, выдвигаемые против него, навязываемые ему систематически требующим признания следователем Тансыкбаевым, фанатично и цинично добивавшимся поставленной цели — раскрыть сфабрикованную им же самим, якобы существующую в резерве еще с военных лет вражескую агентурную сеть, раскрыть, чтобы, ликвидировав, защитить государственную безопасность.

Не подконтрольный ни Богу, ни сатане, Тансыкбаев все рассчитал и преопределил, как Бог и сатана, оставалось только действовать. С тем он и ехал, с тем он и вез в арестантском купе Абуталипа Куттыбаева на очные ставки, чтобы поставить последние точки над «і».

Абуталип же молил Бога лишь об одном — чтобы ничто не помешало ему увидеть в окно вагона хотя бы на миг мальчишек своих Эрмеке и Даула, увидеть Зарипу, напоследок, навсегда. Большого он от жизни уже не просил, понимал подспудно и горько, что так написано ему на роду! Что это будет последним мгновением счастья, что отныне он никогда не вернется к семье, ибо то, что инкриминировалось ему Тансыкбаевым, перед которым он был абсолютно беззащитен и бесправен и, стало быть, столь же беззащитен и бесправен перед лицом всемогущей власти, не могло предвещать ничего иного, кроме гибели, чуть раньше или чуть позже, но гибели в лагерях. Абуталип приходил к неизбежному выводу: он обреченная жертва в руках Тансыкбаева. В свою очередь, Тансыкбаев был винтиком в абсурдной, но постоянно самозатачивающейся карательной системе, направленной на неустанную борьбу с врагами, помышляющими остановить мировое движение социализма, препятствующими торжеству коммунизма на земле.

Эта магическая формулировка, однажды обращенная к кому бы то ни было как обвинение, не могла иметь обратного хода. Она могла быть исчерпана только тем или иным наказанием: расстрелом, лишением свободы на двадцать пять лет, на пятнадцать или десять лет. Другого исхода не предусматривалось. Никто и не ждал в подобных случаях иного исхода. И жертва, и каратель одинаково понимали, что эта магическая формулировка, вступив в силу, не только оправдывала карателя, но и более того — обязывала его прибегать к любым средствам для искоренения врагов, а репрессируемого, приносимого в жертву кровавому молоху истребления инакомыслия, обязывала осознать свою обреченность как целесообразную необходимость.

Так оно и получалось. Поезд катился по сарозекской степи, колеса вращались, Тансыкбаев и его подследственный ехали в одном вагоне, чтобы сообща, при этом каждый по-своему, сделать необходимое для блага трудящихся дело — осуществить очередное

разоблачение затаившихся идеологических врагов, без чего социализм был бы немислим, самораспустился бы, иссяк в сознании масс. Потому требовалось все время с кем-то бороться, кого-то разоблачать, что-то ликвидировать...

А поезд катился. И поскольку Абуталип ничем и никак не мог изменить судьбы, то вынужденно смирялся со своей горькой участью как с неотвратимым злом. Теперь он воспринимал суть происходящего настолько же покорно и безнадежно, насколько болезненно и отчаянно сопротивлялся тому поначалу. Теперь он все больше убеждался, что если бы ему было дано заново родиться на свет, то и тогда не удалось бы избежать столкновения с безликой, бесчеловечной силой, стоящей за Тансыкбаевым. Эта сила оказалась пострашнее войны и пострашнее плена, ибо она была бессрочным злом, длившимся, возможно, со времени сотворения мира. Возможно, Абуталип Куттыбаев, скромный школьный учитель, оказался в роду человеческом одним из тех, кто расплачивался за долгое томление дьявола от безделия в просторах Вселенной, пока не появился на земле человек, который, один-единственный из всех земных тварей, сразу сошелся с дьяволом, культивируя торжество зла изо дня в день, из века в век. Да, только человек оказался таким ревностным носителем зла. В этом смысле Тансыкбаев был для Абуталипа изначальным носителем дьявольщины. Потому-то они и следовали в одном поезде, в одном спецвагоне, по одному чрезвычайно важному делу.

Когда Тансыкбаева отвлекали на разных станциях встречающие сослуживцы местного уровня, приносившие, кто по дружбе, кто по службе, всяческую дорожную снедь и выпивку, Абуталипа это даже радовало — все же меньше времени оставалось у того на терзание допросами. Пусть себе услаждается в пути. В Кзыл-Орде на вокзале была особенно радушная встреча коллег — друзья принесли в вагон Тансыкбаева дымящееся блюдо, покрытое белым полотенцем. В коридоре за дверью засновали охранники, принимавшие угощение: «Казы, кабырга! — полушепотом, с удовольствием проговорил один из них. — А запах какой! В городе такого не бывает. Степное мясо!»

Через краешек зарешеченного окна Абуталип увидел, как Тансыкбаев в шинели внакидку вышел попрощаться на перрон. Стояли все кружком, коренастые, упитанные, как на подбор, в

каракулевых шапках, с краснощекими сияющими лицами, улыбчивые, оживленно жестикулирующие и дружно хохочущие, — возможно, по поводу нового анекдота, — пар горячий валил на морозном воздухе изо ртов, каблуки, наверное, поскрипывали на тонком снегу. Абдительная милиция никого сюда не подпускала — в изголовье состава, у спецвагона стояли они, тансыкбаевцы, одни, довольные, уверенные, счастливые, и никому совершенно не было дела до того, что рядом, в арестантском купе, томился посаженный их стараниями не вор, не насильник, не убийца, а, напротив, честный, добропорядочный человек, прошедший войну и плен и не исповедовавший никакой иной веры, кроме любви к своим детям и жене, и видевший в этой любви главный смысл жизни. Но именно такой человек, не состоявший ни в какой партии на свете и потому не клявшийся и не кающийся, был нужен им в застенках, чтобы счастливо жилось трудовому народу...

После Кызыл-Орды пошли знакомые, родные места. Близился вечер. Медленно изгибаясь в заснеженных низинах, блеснула Сыр-Дарья, и вскоре, уже на заходе солнца, завиднелось посреди степи Аральское море. Вначале то камышовой излучиной, то отдаленным краем чистой воды, то островком напоминало море о себе, а вскоре Абуталип увидел прибойные волны на мокром песке почти у самой железной дороги. Удивительно было все это узреть в одно мгновение: и снег, и песок, и прибрежные камни, и синее море на ветру, и стадо бурых верблюдов на каменистом полуострове, и все это под высоким небом в белых разрозненных пятнах облаков.

Припомнил Абуталип, что Буранный Едигей родом с Аральского моря, что Казангап получает от знакомых рыбаков посылки с любимой им вяленой аральской рыбой через проводников на товарняках, и заныло, защемило тревожно сердце — до разъезда Боранлы-Буранный оставалось не так много — ночь езды, а утром, часам к десяти или чуть позднее, прогудит пассажирский поезд со спецвагоном в голове состава, мчась мимо боранлинских обшарпанных ветрами домиков, мимо сараюшек и верблюжьих загонов, огороженных колючими снопами, и, оставляя позади сбегающиеся пути, скроется из виду, придя и уйдя. Сколько их проходит, поездов, — с востока на запад и с запада на восток, но подскажет ли сердце Зарипе, что Абуталип проедет мимо в то утро на запад в арестантском купе спецвагона, а

может, детские души почуют нечто необъяснимое и тревожное, и потянет их именно в тот час поглазеть на проходящий поезд? О создатель, для чего же надо жить людям так тяжело и горько?

Февральское солнце уже закатывалось, угасало вдали холодно рдеющей багровой полосой между небом и землей, и уже смеркалось, и уже накатывалась исподволь зимняя ночь. Размывались в сумерках мелькающие видения, зажигались станционные огни. А поезд, извиваясь, прокладывал путь в глубину степной ночи...

Не спалось, маялся Абуталип Куттыбаев. Закрытый в окованном жестью купе, не находил он себе места, метался из угла в угол, вздыхал, то и дело попусту просился в туалет, вызывая раздражение надзирателя. Тот уже несколько раз делал замечание, приоткрыв дверцу купе:

— Заключение, ты что все шебуршишься? Не положено так! Сиди смирно!

Но Абуталип не в силах был успокоить себя, и он взмолился, обращаясь к охраннику:

— Слушай, дежурный, умоляю, дай что-нибудь, чтобы уснуть, иначе я умру. Честное слово! А зачем я вам мертвый? Скажи начальнику своему — зачем я вам мертвый? Истинно — не могу заснуть!

Как ни странно (причину той отзывчивости Абуталип понял на другой день утром), надзиратель принес из купе Тансыкбаева две таблетки снотворного, и только тогда, приняв снотворное, задремал Абуталип уже в середине ночи, но уснуть по-настоящему так и не удалось. Мерещилось ему в полусне под дробный стук колес и завывание гудящего ветра снаружи, что бежит он впереди паровоза, бежит, надрываясь и хрипя, в страхе, что попадет под колеса, а поезд мчится за ним на всех парах. Так бежал он той безумной ночью по шпалам впереди паровоза, и казалось, что происходит это наяву, настолько было страшно и правдоподобно. Пить хотелось, в горле пересыхало. Паровоз же гнался за ним с пылающими фарами, освещая ему путь впереди. А он бежал между рельсами, вглядываясь напряженно в метельную округу, и звал, кликал жалобно, оглядываясь по сторонам: «Зарипа, Даул, Эрмек, где вы? Бегите ко мне! Это я, ваш отец! Где вы? Отзовитесь!». Никто не отзывался. Впереди бушевала темная мгла, а позади настигал, готовый смять, раздавить его,

грохочущий паровоз, и не было сил убежать, скрыться куда-нибудь от набегающего сзади все ближе и ближе, по пятам паровоза... И оттого становилось еще хуже — страх, отчаяние сковывали движения, ноги становились непослушными, дыхание прерывалось...

Рано утром, накинув фуфайку на плечи, бледный, отекший Абуталип уже сидел у зарешеченного окна и вглядывался в степь. Холодно, темно еще было снаружи, но постепенно земля прояснялась, утро входило в силу.

День обещал быть пасмурным, возможно, со снегом, хотя в небе виднелись и размытые просветы...

Да, пошли уже собственно сарозекские земли, заснеженные по зиме, заметенные сугробами, но для внимательного взора узнаваемые по очертаниям, — пригорки, овраги, поселения, первые дымки над знакомыми по прежним проездам крышами. И эти чужие крыши с зимними дымами из труб казались родными. Скоро предстояла станция Кумбель, а там, часа через три, и разъезд Боранлы-Буранный. Можно сказать, совсем уже близко — ведь сюда, в эти места, Едигей и Казангап наезжали при случае и на верблюдах — на поминки, на свадьбы... Вот и в этот ранний час кто-то ехал верхом на буром верблюде, в большой меховой шапке — лисьем малахае, и Абуталип приник к самой решетке — а вдруг это кто из своих... А что если вдруг то Едигей на своем Каранаре очутился здесь почему-либо? Что стоит ему отмахать сотню верст на своем могучем атане, который бежит, как, должно быть, бегают жирафы где-нибудь в Африке...

И как-то, сам того не замечая, поддался Абуталип настроению — стал собираться, как бы к выходу из поезда. Раза два переобувался даже, перематывал портянки, сложил вещмешок. И стал ждать. Но не усидел — добился у охраны, чтобы умыться пораньше в туалете и, возвращенный в купе, снова не знал, чем занять себя.

А поезд шел по сарозекским степям... Смирив себя, Абуталип сидел, зажав сомкнутые руки между коленями, и лишь изредка позволял себе смотреть в окно.

На станции Кумбель поезд простоял семь минут. Здесь все уже было своим. Даже поезда — товарные и пассажирские, встретившиеся с его поездом на путях этой большой станции перед тем, как разминуться в разные стороны, — казались Абуталипу желанными и родными, ведь они совсем недавно проходили через Боранлы-

Буранный, где жили его дети и жена. Одного этого оказалось достаточно, чтобы полюбить даже неодушевленные предметы.

Но вот его поезд снова двинулся в путь, и, пока он шел вдоль перрона, пока выходил из пределов станции, Абуталип успел разглядеть показавшиеся ему знакомыми лица местных жителей. Да, да, он, безусловно, знал их, этих увиденных им кумбельцев, да и они наверняка знали старожилков боранлинских — Казангапа, Едигея, их домочадцев, ведь сынок Казангапа Сабитжан окончил здешнюю школу, а теперь учился уже в институте...

Оставляя позади станционные пути, поезд набирал скорость, шел все быстрее и быстрее. Припомнилось Абуталипу, как приезжали они сюда с детворой за арбузами, как приезжал он за новогодней елкой и по разным другим делам...

К еде, выданной ему на утро, Абуталип даже не прикоснулся. Все думалось о том, что до разъезда Боранлы-Буранный осталось совсем немного — часа два с небольшим, и теперь Абуталип опасался, как бы не пошел снег, как бы не заметелило, — ведь тогда Зарипа и детишки будут сидеть дома, и тогда, конечно, он их не увидит даже издали...

«О, Боже, — думалось Абуталипу, — воздержись в этот раз от снега. Повремени немного. Ведь и потом у тебя хватит времени на это. Ты слышишь? Прошу тебя!» Сжавшись в комок, стиснув сомкнутые руки между колен, Абуталип пытался сосредоточиться, набраться терпения, уйти в себя, чтобы не помешать загаданному, дожидаться того, чего он просил у судьбы, — увидеть через окно вагона жену и детей. А вот если бы они его увидели... Утром, когда он, охраняемый за дверью надзирателем, умывался в туалете и посмотрел на себя в позеленевшее зеркало над ржавой раковиной, бросилось ему в глаза, что он бледен, желт, как мертвец, даже в плену не был так желт, и уже сед, и глаза не те, поугасшие от горя, морщины резко прорезались на лбу... А ведь о старости еще не думалось... Если бы сыночки Даул и Эрмек, если бы Зарипа увидели его, то вряд ли признали бы — испугались бы, пожалуй. Но потом они наверняка обрадовались бы, и стоило бы ему вернуться в семью, стоило бы обрести покой рядом с детьми и женой, он снова бы стал таким, как прежде...

Размышляя об этом, Абуталип поглядывал в окно. Вот опять знакомое место — пригорки, а между ними седловинка. Мечтал когда-

то приехать сюда с детворой боранлинской, чтоб набегались с пригорка на пригорок, как с волны на волну, радостно визжа.

В этот момент ключи в дверях арестантского купе решительно загремели, дверь распахнулась, на пороге стояли двое надзирателей.

— Выходи на допрос! — приказал старший из них.

— Как на допрос? Зачем? — невольно вырвалось у Абуталипа.

Надзиратель даже придвинулся к нему недоуменно, не большой ли случай:

— Что значит, зачем? Не понимаешь, что ли, выходи на допрос!

Абуталип в отчаянье опустил голову. Кинулся бы, не раздумывая, в окно, чтобы камнем проломиться прочь, но на окне была решетка... Пришлось подчиниться. Значит, не судьба. Значит, не увидеть ему, прикинув к окну, того, чего он так ждал. Абуталип медленно поднялся с места, как человек с тяжким грузом, и пошел, сопровождаемый надзирателями, в купе к Тансыкбаеву, как на виселицу. И, однако, мелькнула последняя надежда — впереди еще часа полтора пути, может быть, допрос закончится к тому времени. Оставалось надеяться только на это. До купе Тансыкбаева было всего четыре шага. Долго шел Абуталип эти четыре шага. А тот уже ждал его.

— Заходи, Куттыбаев, поговорим, поработаем, — соблюдая строгость в лице и голосе и тем не менее довольно оглаживая свежесбритое лицо, протертое резким одеколоном, проговорил Тансыкбаев, вглядываясь в Абуталипа пронзительными глазами. — Садись. Разрешаю садиться. Так будет удобней и тебе, и мне.

Охранники остались за закрытыми дверями, готовые немедленно явиться по первому зову. Убить кречетоглазого было невозможно. Нечем. Не видно было нигде ни бутылки, ни стакана, хотя, конечно, кречетоглазый не прочь был пропустить при случае. Об этом говорил запах водки и закусок в купе.

Поезд же шел, как и прежде, разрезая движением сарозекскую степь, и все меньше оставалось пути до разъезда Боранлы-Буранный. Тансыкбаев не спешил, перечитывал какие-то записи, копался в бумагах. И Абуталип не утерпел, он истомился, извелся за несколько минут, так тяжел был ему этот вызов на допрос. И он сказал Тансыкбаеву:

— Я жду, гражданин начальник.

Тансыкбаев удивленно поднял глаза:

— Ты ждешь? — недоуменно проговорил он. — Чего ты ждешь?

— Допроса жду. Вопросов жду...

— Ах вон оно что! — протянул Тансыкбаев, подавляя в себе вспыхнувшее торжество. — Что ж, это неплохо, Куттыбаев, я тебе скажу, совсем неплохо, когда обвиняемый сам, как говорится, по доброй воле, раскаявшись, ждет допроса, чтобы ответить на дознание... Значит, ему есть что сказать, есть что открыть следственным органам. Не так ли? — Тансыкбаев понял, что именно так следует вести сегодня допрос, сменив угрожающий тон на обманчиво дружелюбный. — Стало быть, ты осознал, — продолжал он, — в чем твоя вина, и желаешь помочь следственным органам в борьбе с врагами Советской власти, даже если ты сам был врагом. Важно, что для нас с тобой Советская власть прежде всего, дороже отца-матери, разумеется, для каждого по-своему, — он замолчал удовлетворенно и добавил: — Я всегда думал, что ты разумный человек, Куттыбаев, И всегда надеялся, что мы с тобой найдем общий язык. Что молчишь?

— Не знаю, — неопределенно ответил Абуталип, — не понимаю, в чем я виноват, — добавил он, украдкой поглядывая за окно вагона. Поезд шел напряженно, и сарозекская степь под хмуро нависающим небом убегала назад с головокружительной скоростью, как в немом кино.

— Вот что я тебе скажу. Будем откровенны, — продолжал Тансыкбаев. — Ведь тебя везут, как короля, в спецвагоне не случайно. Такое не бывает зазря. За так-сяк в купе отдельном не повезут. Значит, ты важная персона в следственном деле. От тебя многое зависит. И с тебя особый спрос. Подумай. Очень даже подумай. А теперь послушай, что я скажу. Сегодня поздно вечером мы прибываем в Оренбург, в Чкалов то есть. Там нас ждут. Это наш первый пункт. Ты знаешь, там проживают двое из твоих подельников: Попов Александр Иванович и татарин Сейфулин Хамид. Оба они уже под арестом. Кстати, с твоих показаний. И оба признаются, что вместе с тобой были в плену в Баварии, а потом вместе бежали, — кстати, при странных обстоятельствах, почему-то только вашей бригаде удалось бежать из каменоломен, в этом мы еще разберемся. А потом в Югославии подвизались, и оба они дают показания, что были на

встрече с английской миссией. Ты хорошо знаешь, о чем речь. Об этом ты писал в своих воспоминаниях. Надо сказать, любопытно написанных. Нам известно, что Попов — резидент, а Сейфулин его дублер, правая рука. Ты, Куттыбаев, конечно, не первая скрипка в агентуре, потому тебе облегчение, если поможешь следствию.

— Какая агентура? Я уже говорил, что я не видел их с сорок пятого года, как кончилась война, — вставил Абуталип.

— Это неважно. Совсем неважно. Не обязательно видеться в личном порядке, с глазу на глаз. Кто-то был связным. Ну, скажем, этот самый правдолюбец Едигей Джангельдин не ездил ли в Оренбург или куда еще? Ведь и так могло быть, что вы держали связь через кого-то. Ты подумай сначала.

— Если я скажу, что Едигей ездил в Оренбург на своем верблюде Каранаре, — это пойдет? — не удержался Абуталип.

— Ты опять за свое, Куттыбаев. Напрасно. Я с тобой ведь похорошему, а ты уже нос воротишь. Соппротивление только во вред тебе. А насчет Едигея можешь не беспокоиться. Надо будет, возьмем и его, даже вместе с верблюдом. Если хочешь, чтобы мы его не трогали, не крути на очной ставке.

Паровоз впереди дал долгий, сильный сигнал встречному. Его мощный гудок тягостно прошелся по сердцу Абуталипа. Все меньше времени оставалось до разъезда Боранлы-Буранный. Ход рассуждений речетопазого ужасал Абуталипа. Для такой силы нет ничего невозможного в стране. Но в этот час больше всего угнетало Абуталипа то, что на Тансыкбаева напала необычная словоохотливость, и он не собирается заканчивать допрос.

— Так вот, — прервал молчание Тансыкбаев, отодвигая от себя бумаги и подняв глаза на Абуталипа. — Я уверен, что мы пойдем друг друга, в этом твой выход. Очная ставка в Оренбурге определит главное — или ты будешь мне помогать, делать дело, или я сделаю все, чтобы ты очень сожалел, когда получишь четвертной срок, а то и вышку. Ты понимаешь, что к чему. Мы доберемся и до самого Тито, которому вы служили все эти годы. За процессом следит сам Иосиф Виссарионович. Никто не останется безнаказанным, корчевать будем беспощадно, Так что, дорогой, благодари судьбу, что я не желаю тебе зла. Но и ты не должен оставаться в долгу. Ты понимаешь, о чем речь?

Абуталип молчал и, холодея, считал в уме минуты приближения к полустанку. Значит, так и не придется увидеть своих хотя бы в окно. Эта мысль сверлила его мозг.

— Ты что молчишь? Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, о чем речь? — допытывался Тансыкбаев.

Абуталип кивнул головой. Конечно, он понимал, о чем речь.

— Ну, вот так бы давно! — Тансыкбаев истолковал кивок как знак согласия, он встал, подошел к Абуталипу и даже положил ему руку на плечо. — Я знал, что ты неглупый джигит, что ты выйдешь на правильный путь. Значит, мы с тобой договорились. И ни в чем не сомневайся. Делай все, как я скажу. Самое главное — не волнуйся на очной ставке, гляди в глаза и говори все, как есть. Попов — резидент, с сорок четвертого года завербован английской разведкой, перед депортацией был на совещании у самого Тито, имеет долгосрочное задание на случай волнений. Все, этого достаточно. Теперь насчет этого татарина Сейфулина, значит, так, Сейфулин — правая рука Попова. И все — этого хватит. Остальное мы сами. Делай заявления и не сомневайся. Тебе ничего не грозит. Абсолютно ничего. Я тебя не подведу. Так, стало быть. С врагами у нас разговор короткий — врагов ликвидируем. С друзьями сотрудничаем — делаем скидку. Запомни. И еще запомни, со мной шутки плохи. А что ты такой бледный, потный какой-то, тебе что, нездоровится? Душно?

— Да, плохо себя чувствую, — сказал Абуталип, преодолевая приступ головокружения и тошноты, точно он отравился дурной пищей.

— Ну, если так, не стану тебя задерживать. Сейчас пойдешь к себе и отдыхай до самого Оренбурга. Но в Оренбурге чтобы как штык. Понял? На очной ставке чтобы никаких шатаний. Никаких «не помню, не знаю, забыл» и прочее... Все, как есть, выкладывай, и баста. А остальное пусть тебя не волнует. Остальное мы сами. Вот так. Сейчас не будем заниматься писаниной, иди отдыхай, а по итогам очной ставки в Оренбурге подпишем бумаги, как требуется. Подпишешь показания. А сейчас иди. Считаю, что мы с тобой обо всем договорились. — С этими словами Тансыкбаев отправил Абуталипа в его арестантское купе.

И с этого момента, как бы от нового рубежа, для Абуталипа началась какая-то особая жизнь. Ему показалось, что поезд ускорил

свой бег. За окном стремительно мелькали хорошо знакомые места, до Боранлы-Буранного оставались считанные минуты. Надо было успокоиться, взять себя в руки и ждать, быть готовым к любому для себя исходу, но прежде всего надо было умерить скорость поезда. «Надо, чтобы поезд шел медленнее», — подумал Абуталип, заклиная некую силу, и вскоре почувствовал, или ему так показалось, что поезд вроде бы стал сбавлять скорость, за окном прекратилось раздражающее мелькание. И тогда он сказал себе: «Все будет, как я прошу!» — и немного успокоился, перестал задыхаться; прикинув к решетчатому окну, он стал ждать.

Поезд и в самом деле подходил к разъезду Боранлы-Буранный, куда беда пригнала Абуталипа изгоем, где он прижился и мечтал, пока дети подрастут, переждать невзгоды истории. Но и этому оказалось не суждено сбыться. Семья осталась брошенной на произвол судьбы, а сам он проезжал теперь мимо в арестантском вагоне.

Абуталип всматривался в окно с таким напряжением, будто должен был запомнить увиденное на всю жизнь, до последнего вздоха, до последнего света в глазах. И все, что он видел в тот предполуденный час февральской зимы: сугробы, прогалины у железной дороги, местами оголившуюся, местами заснеженную степь — он воспринимал, как святое видение, — с трепетом, мольбой и любовью. Вот пригорок, вот ложбинка, вот тропка, по которой они с Зарипой ходили на ремонт путей с инструментом на плечах, вот полянка, где летом бегала детвора баранлинская и его мальчишки Даул и Эрмек... А вот кучка верблюдов, а вот там еще пара, и один из них — едигеевский Каранар, его же издали можно отличить, все такой же могучий, неспешно бредет себе куда-то; но что это — снег пошел вдруг, в воздухе за окном заметались снежинки, ну, конечно, ведь с утра небо набухало тучами, значит, быть непогоде, но чуточку бы погодил снежок, совсем чуточку, ведь видны уже загоны верблюжьих и первая крыша с дымом из трубы, а вот и стрелка, поезд переходит на запасную колею, колеса перестукивают на стыках, и стрелочник у будки с флажком, так это же Казангап, жилистый, как посохшее дерево; о, Боже, вот промелькнула будка Казангапа, поезд движется дальше, мимо поселка; вот домики, их крыши и окна, вот кто-то вошел в дом только спину его увидел Абуталип, а вот кто-то орудует у жердей и досок, что-то строит для детворы. Едигей, — да, это он,

Едигей, в телогрейке с засученными рукавами, и рядом его дочурки, а с ними и Эрмек, да, Эрмек мой родной, дорогой мой мальчик, стоит неподалеку от Едигея и что-то подает ему с земли, о Боже, лицо его только мелькнуло, а где же Даул, где Зарипа? Вон женщина идет беременная, то жена начальника разъезда Сауле, а вот и Зарипа, в платке, сбившемся на плечи, Зарипа и Даул, она ведет младшего за руку, они идут туда, где Едигей с детворой что-то сооружают, они идут и не знают, что он, Абуталип, судорожно зажал себе рукой рот, чтобы не закричать, не заорать дико и отчаянно: «Зарипа! Родная! Даул! Даул, сынок мой! Это я! Я вижу вас последний раз! Прощайте! Даул! Эрмек! Прощайте! Не забывайте! Я не могу без вас! Умру я без вас, без родных моих детей, без жены моей любимой! Прощайте!»

И все, что было увидено в те промелькнувшие мгновения, снова и снова возникало перед взором Абуталипа, когда поезд уже давно миновал долгожданный разъезд Боранлы-Буранный. Уже валил снег за окном, густо и обильно, уже давно все осталось позади, но для Абуталипа Куттыбаева время остановилось в минувшем пространстве, на том отрезке пути, который вмещал в себя всю боль и смысл его жизни.

Он так и не смог оторвать себя от окна, хотя из-за снега глядеть в окно было уже бессмысленно. Он так и остался прикованным к окну, потрясенный тем, что, не смирившись с творимой несправедливостью, вынужден был, однако, подчиниться некоей воле, тихо, украдкой проследовать мимо жены и детей, как безмолвная тварь, ибо к тому принудила его эта сила, лишившая его свободы, и он, вместо того, чтобы спрыгнуть с поезда, объявиться, открыто побежать к истосковавшейся семье, униженный и жалкий, плядел в окошко, позволил Тансыкбаеву обращаться с собой, как с собакой, которой приказано сидеть в углу и не двигаться. И чтобы как-то унять себя, Абуталип дал себе слово, которое не произнес, но понял...

Горькую сладость мимолетной встречи Абуталип испивал теперь до дна. Только это было в его силах, только это оставалось в его воле — воскрешать и воскрешать все заново, подробно, в деталях, зримо: то, как увидел вначале Казангапа, все такого же, с неизменным флажком в жилистой руке, на постоянном его посту, сколько же поездов пропустил он на своем веку, стоя то в одном, то в другом конце разъезда; и то, как потом пошли боранлинские домики, загоны

для скота, дымки над трубами, и потом — как он чуть не захлебнулся от собственного крика и отчаяния, успев зажать себе рот, когда увидел Эрмека среди детворы возле Буранного Едигея, что-то соорудившего для ребятишек в тот час, верного человека, оставшегося в мире, как утес, самим собой. Эрмек подавал Едигею то ли дощечку, то ли еще что-то, и в те несколько секунд увидено было так отчетливо, так ясно — Едигей, живо обращенный к детям, большой, кряжистый, смуглолицый, в телогрейке с засученными рукавами, в кирзачах, и мальчик в старой зимней шапчонке и валенках, и идущие к ним Зарипа с Даулом. Бедная, родная Зарипа — так близко увидена была им — и то, что платок сбился на плечи, обнажив ее черные волнистые волосы, и бледное лицо, такое трогательное и желанное; расстегнутое пальто, грубые сапоги на ногах, купленные им, наклон головы к сыночку — она что-то ему говорила, — все это, бесконечно близкое, родное, незабываемое, долго продолжало сопутствовать Абуталипу в его мысленном прощании после встречи... И ничем нельзя было заменить этой утраты, ничем и никогда...

Всю дорогу шел снег, мела, крутила пурга. На одной из станций перед Оренбургом поезд задержался на целый час — расчищали пути от сугробов... Слышались голоса, люди работали, проклиная погоду и все на свете. Потом поезд снова двинулся и шел, окутанный метельными вихрями. В Оренбург въезжали долго, придорожные деревья смутно высились черными, безмолвными корявыми стволами, как сушняк на брошенном кладбище. Самого города практически не было видно. На сортировочной станции опять же долго стояли в ночи — спецвагон отцепляли от состава. Абуталип это понял по толчкам вагонов, по крикам сцепщиков, по гудкам маневровых локомотивов. Потом вагон потащили еще куда-то, должно быть, на запасный путь.

Была уже глубокая ночь, когда спецвагон был поставлен на отведенное ему место. Последний толчок, последняя команда снизу: «Хорош! Отваливай!» Вагон остановился как вкопанный.

— Ну, все! Собирайся! Выходи, заключенный! — приказал старший надзиратель Абуталипу, открывая дверь купе. — Не задерживай! Выходи! Заспался? Глотни свежего воздуха!

Абуталип медленно поднялся навстречу и отрешенно сказал, подойдя вплотную к надзирателю:

— Я готов. Куда идти?

— Ну, готов, так шагай! А куда идти, конвой укажет, — надзиратель пропустил Абуталипа в коридор, но потом удивленно и возмущенно заорал, остановил его:

— А вещмешок твой остается, что ли? Ты куда? Почему не берешь вещмешок? Или тебе носильщика пригласить? Вернись, забери свои шмотки!

Абуталип вернулся в купе, нехотя взял забытый вещмешок и, когда снова вышел в коридор, то чуть не столкнулся с двумя местными спецсотрудниками, спешно и озабоченно идущими по вагону.

— Остановись! — прижал Абуталипа к стенке надзиратель. — Пропусти! Пусть товарищи пройдут.

Выходя из вагона, Абуталип слышал, как те двое постучались в купе Тансыкбаева.

— Товарищ Тансыкбаев! — донеслись их взволнованные голоса. — С прибытием! Уж мы заждались вас! Уж мы заждались! А у нас снегопад! Извините! Разрешите представиться, товарищ майор!

Вооруженный конвой — трое в ушанках, в солдатской форме, — стоял внизу в ожидании заключенного, которого приказано было провести через пути к крытой машине.

— Ну, сходи! Чего ждешь? — торопил один из конвоиров. Сопровождаемый надзирателем, Абуталип молча сходил по ступеням с поезда. Резко дохнуло холодом, мелко порошил снег. От морозных поручней жестко свело руку. Тьма, разрываемая путевыми огнями на незнакомой станции, путаница рельсов, замеченных пургой, тревожные сигналы маневровых толкачей.

— Сдаю заключенного номером девяносто семь! — доложил конвою старший надзиратель.

— Принимаю заключенного номером девяносто семь! — эхом ответил старший конвоир.

— Все! Шагай, куда прикажут! — сказал Абуталипу старший надзиратель на прощание. И потом добавил зачем-то: — А там посадят в машину и увезут...

Абуталип под конвоем двинулся по путям, перешагивая наугад через рельсы и шпалы. Шли, закрываясь от снега. Абуталип нес на плече вещмешок. То там, то тут подавали гудки локомотивы ночной смены.

Оренбургские коллеги, прибывшие к Тансыкбаеву в купе, чтобы увезти его в гостиницу, однако задержались, отмечая его прибытие. Коллеги предложили ради знакомства выпить и закусить тут же, в купе, тем более что ночь, нерабочее время. Кто не согласится. В разговоре Тансыкбаев счел возможным сказать, что дело пошло на лад, можно быть уверенным в успехе очной ставки, ради которой они прибыли из Алма-Аты.

Коллеги быстро сошлись, оживленно беседовали, как вдруг снаружи раздались возбужденные голоса и топот ног по коридору вагона. В купе ворвались конвоир и старший надзиратель. Конвоир был в крови. С диким, перекошенным лицом, отдавая честь Тансыкбаеву, крикнул:

— Заключенный номером девяносто семь погиб!

— Как погиб? — вскочил вне себя Тансыкбаев. — Что значит погиб?

— Бросился под паровоз! — уточнил старший надзиратель.

— Что значит бросился? Как бросился? — неистово тряс надзирателя Тансыкбаев.

— Когда мы подошли к путям, слева и справа маневровые двигались, — начал сбивчиво объяснять конвоир. — Там же состав передвигали. Туда-сюда... Ну, мы и остановились, чтобы переждать... А заключенный вдруг размахнулся вещмешком, ударил меня по голове, а сам кинулся прямо под паровоз, под колеса...

Все в полной растерянности от неожиданности происшедшего молчали. Тансыкбаев стал лихорадочно собираться к выходу.

— Гад такой, сволочь, выкрутился! — выругался он с дрожью в голосе. — Все дело сорвал! А! Надо же! Ушел ведь, ушел! — и отчаянно махнул рукой, налил себе полный стакан водки.

Его оренбургские коллеги, однако, не преминули предупредить конвоира, что всю ответственность за случившееся несет конвой...

notes

Примечания

1

Асыл достар — дорогие друзья (казах.).

2

Самбайну — здравствуй (монг.).

Жаик, Яик — река Урал.